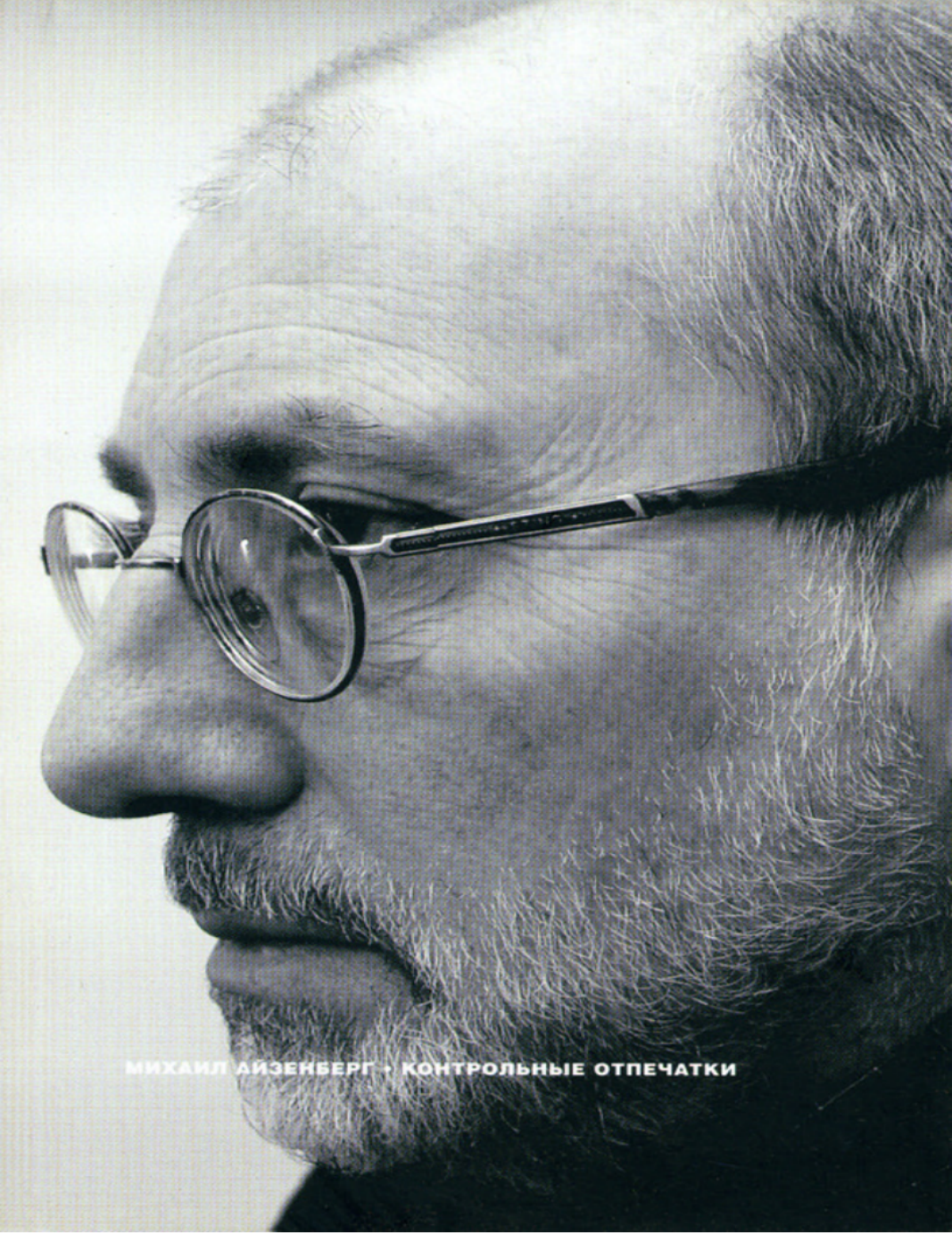
МИХАИЛ АЙЗЕНБЕРГ • КОНТРОЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В книгу поэта и критика Михаила Айзенберга «Контрольные отпечатки» вошли те небольшие сочинения, жанр которых словно бы ищет свое место между очерком, мемуарами и эссе. В это пространство «между жанрами» автор помещает воспоминание о временах, названных позже «эпохой застоя», о некоторых людях, более или менее известных деятелях неофициальной культуры. «Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили», – пишет Айзенберг и осторожно восстанавливает личные впечатления, обрывки разговоров, детали культурного фона той эпохи, которая, по его мнению, прошла незамеченной.

- Михаил Айзенберг
  - Вместо предисловия
  - Ваня, Витя, Владимир Владимирович
  - Из одного ящика
  - Лёнины письма
  - Минус тридцать по московскому времени
  - «Цвэток»
  - Культовый автор
  - Первый читатель
  - Учитель без ученика
  - Открытки Асаркана
  - Библиографическая справка
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11

Михаил Айзенберг
Контрольные отпечатки

Вместо предисловия

Когда-то, в рисовальных классах архитектурного института, было очень поучительно рассматривать работы студентов из далеких экзотических стран. Классические черты Аполлона, Дорифора или Апоксиомена в их академических штудиях приобретали особый характер – в зависимости от происхождения рисовальщика. Становилось понятно, что и с нашими рисунками происходит нечто подобное, только мы не замечаем этих чудесных превращений.

Если говорить о литературе, у этого предмета (портретирования) обнаруживается и другая сторона: в сознании писателя реальные «люди и положения» невольно подстраиваются под уже существующий, наработанный механизм описания. Такое искажение – закон жанра, обсуждать можно только степень искажения и его правомочность.

Человек, не готовый смириться с неизбежностью, должен либо отказаться от «портретных зарисовок», либо как-то реформировать этот жанр. В своих очерках о некоторых людях, с которыми мне посчастливилось общаться, я пытался учитывать это обстоятельство.

«Научиться тому, как прикоснуться к вещи, которая тебе дорога, и не сломать ее» – так определяет свою задачу замечательный художник Олег Васильев. Пожалуй, схожая задача маячит и в представленных здесь опытах, только *вещью* в моем случае являются память и воспоминание.

Любое воспоминание немного дефектно, отчасти просто фиктивно. Фиктивность связана с постоянным изменением: это не вещь, а процесс, включающий и «воспоминание о воспоминании».

Возможно, поэтому так трудно записать воспоминание. Запись требует последовательности, сюжета, а здесь выстраивание, вытягивание какой-то «истории» кажется насилием. Обнаружение себя в реальных обстоятельствах происходит не так – не в таких формах. Не так открывает себя реальность. А как? Это и нужно выяснить, создав пространство, словесную среду, где воспоминание жило бы в естественных условиях и свобода его движения не была бы слишком ограничена.

Мы снимаем показания, но цель у нас одна: понять, что же там было *на самом деле*. Может быть, мы *на самом деле* все помним, но только не знаем, что именно нам надо вспомнить? «Быть – это видеть свое отражение» (Ю. Лотман). То есть речь идет не об амнезии, а о небытии, и неосознанное обострение

слуха само свидетельствует о существовании скрытого, непроявленного сюжета.

События нашей жизни трудно представить себе некими «точками» – замкнутыми, лишенными связей. Если и «точки», то не на плоскости. Скорее на какой-то «волне», и подлинные связи между ними тоже волновые. Воспоминание имеет двойную природу: за частностями, за памятными эпизодами стоит какая-то цельность, которая и есть *память*. Там можно обнаружить не замеченную раньше связность событий, знакомств, разговоров, которая говорит о времени и среде не меньше, чем о наблюдателе. Там ничего не различишь без специальной оптики. Такая оптика не может принадлежать ни герою, ни автору-рассказчику, но кому-то *третьему*, наблюдающему рассказчика со стороны и угадывающему его способ видеть, его зрительную технику. Наблюдателю нужно *другое место*, причем не постоянное, а подвижное.

Двойную природу воспоминания можно понять как фамильное сходство с природой времени и как прямое ей подражание. Так дети перенимают основу характера родителей, но еще и копируют родительские повадки.

Память живет по каким-то своим неясным законам, но *воспоминание* уже зависит от языка: подчиняется тому слою сознания, что нашел себя в языке. «На самом деле и там – бездна событий. Отсутствует только способ их припомнить» (П. Улитин). Биография – то, что можно запомнить и рассказать. Воздух жизни, идущий мимо языка, идет и мимо биографии. Странная неопределенность наших биографических обстоятельств (я говорю сейчас только о своем поколении), как мне кажется, прямо связана с тем временем, которое мы можем считать своим по преимуществу, – с семидесятыми годами прошлого века. Но сейчас я вижу, что тень, в которую мы так безропотно ушли, переходит и на последующие времена. Затеняет и их.

Само это время было «черновиком»: оно начинало новую эпоху. Что делают с чистым листом, с его пугающей белизной? Заполняют пробами пера, набросками и каракулями. Так все и жили: как будто начерно, откладывая все существенное *на потом*.

Таким же черновым и фрагментарным остается осознание этого десятилетия (которое в действительности длилось гораздо дольше). Какие-то «островки сознания». Перебелять их трудно: что-то невозможно разобрать, а многое утрачено. Остались «фрагменты», по которым и надо восстанавливать первоначальный текст. И здесь нужна специальная техника.

Семидесятые годы как-то особенно старались, чтобы их не заметили. (Их и не заметили.) Только к концу восьмидесятых стал слышен шум исторического времени, и он показался тогда очень новым, непривычным впечатлением. Под него нужно было перенастраивать свой слуховой аппарат, потому что безвременье изъяснялось ультразвуками.

Есть выражение «торговать воздухом». Что сказать о воздухе семидесятых годов? Он едва ли может стать предметом купли-продажи. В нем нет плотности – событийной основы, ткани. Наш язык его *не берет*. Он настолько бесплотен, что весь, без остатка, уходит в щели и пазухи языка. С этим щелевым шелестом способно совпасть только поэтическое слово, потому что поэзия сама – воздух, намагниченный воздушный ток.

«Человека семидесятых» как будто нет. Мы уже не были *теми*, но еще не умели быть другими. Наш опыт – начальный, а потому как бы эфемерный. Не было образца, не было «поведенческого монолита», с которым возможен сторонний диалог. Выражаясь языком семиотики, не было социокультурных грамматик. Сознание не фокусировалось на тех вещах, что составляли реальное содержание жизни, и часто пропускало основные впечатления, не посчитав их достойным материалом, потому что эти вещи не совпадали с какими-то образцами, принятыми ориентирами. При множестве паролей отсутствовали «условленные» грамматические нормы.

Немного об этих паролях. Есть особая этикетность маленьких сообществ. В ее основе – общий принцип экономии средств, в частности средств выражения. Вместо долгих объяснений – значимый жест, кодовое словечко, ужимка. И огромная область того, что молчаливо подразумевается и не требует объяснений. Не требует слов.

Мое поколение находится в ситуации, которая кажется мне уникальной. Только услышав, что говорится после нас, мы смогли почувствовать, что же не сказали сами. И сейчас нам приходится не говорить, а договаривать; полемизировать с давно исчезнувшими оппонентами. Это очень неловкое, тягостное положение, во многом сходное с «остроумием на лестнице».

Язык нашего поколения и сейчас во многом остается личным и круговым. Все, кто хотели говорить «городу и миру» и быть услышанными, шли на лингвистическую выучку к другим поколениям, начинали пользоваться их языками (для нас – по большей части мертвыми, схоластическими). Это поколение эмигрантов еще и в том смысле, что изрядная часть его представителей эмигрировала в чужие речевые практики. Кто же

остался? Каждый, я думаю, именно себя склонен считать оставшимся – и оставленным.

Похоже, что остались те, кто пытался жить в своем времени, мысля на ощупь и почти по буквам собирая новые слова. Собираясь в кружки и компании – в те самые «маленькие сообщества». Движение было почти инстинктивным, оно подчинялось какому-то первому и главному чувству: чувству самосохранения. Это чувство заставляло искать или создавать *очаг* (сопротивления). Существование – если оно не вовсе бессознательно – не может протекать помимо «культурного обмена», вокруг которого нарастает своего рода общественная жизнь. Внутри большого и как будто необитаемого социума образовывались малые социальные сообщества, кланы. Обозначался общий рисунок новой системы действий: те навыки существования, которые и есть культура. Люди учились жить в обществе, но не по его законам.

Все существовало в единстве – среда и время. Время тоже было своего рода средой: определенной и определяющей. (Определяющей, кстати, и тот уровень, ниже которого невозможно опуститься.)

Конечно, возрастная близость была обычным, но не обязательным условием кланового общения. В центре, в ядре клана часто оказывались люди постарше, с другим опытом, с более сложной судьбой. И именно те люди, что избежали поражения, – потому что их ничем нельзя было поразить. Помимо опыта существенным здесь было то *отношение*, в котором находились опыт и язык его описания. Способность человека продлить свое время в другие времена или быть «гостем из будущего», живущим среди иных категорий. В первую очередь это были люди, обладающие, как сказал бы социолог, лингвистическим капиталом. И понятно, почему так ценился именно этот капитал: мы слушали их, своих учителей, постигая даже не способ, но саму способность – *возможность* речи.

Эти вещи не описаны и даже как следует не осмыслены. Многие загадки не раскрыты, только погребены под новыми пластами. Самого себя надо раскапывать как Трою. Культурный слой огромен, но в его основании золотой песок: впечатления и знакомства моей молодости.

Сейчас я не вижу другой возможности проявления, обобществления такого опыта, кроме как через частное, через частности. Наверняка я могу сказать одно: это никакие не мемуары. Мне даже неловко описывать реальных людей. Но я

хочу записать какое-то кружение лиц и разговоров, улыбок, взглядов, интонаций. Прикоснуться к ним осторожно и исподволь, – в частном порядке.

Ваня, Витя, Владимир Владимирович

В интервью немецкому телевидению Владимир Набоков говорит, что «многое хотел бы сказать о моих героических русских читателях», однако же не говорит ничего. Жаль, было бы интересно прочесть. Ко времени этого интервью (1971) я уже года три был его читателем, не подозревая о собственном героизме.

Все произошло как-то сразу. Обычного этапа предварительного оповещения и заочного знакомства, в сущности, не было. Один-два раза это имя промелькнуло в случайных разговорах, но я не обратил внимания, спутав с Нагибиным.

И вот в вестибюле архитектурного института Иван передает мне, особо не таясь, «Приглашение на казнь», западное издание, парижское – Editions Victor. В выходных данных почему-то отсутствует год издания, но по вычислениям получается шестьдесят пятый. А ко мне она попала, думаю, осенью шестьдесят восьмого. Стало быть, на доставку ушло не так много времени.

Две следующие книжки я получил уже в собственность и за сравнительно небольшие деньги, рублей тридцать-сорок. Сначала «Защиту Лужина», потом «Лолиту». Принадлежали они мне вполне условно: ходили кругами по разным читателям, знакомым и незнакомым. Это называлось «контролируемый экземпляр». Во время их коротких побывок я с огорчением замечал, как неаккуратны эти неизвестные мне читатели. Книжки чернели и разваливались. Особо популярная «Лолита» на одном из перегонов рассыпалась окончательно, была неизвестно кем грубо склеена казеиновым клеем – несколько страниц слиплись – и оделась в самодельный картонный переплет. «Твоя девочка стала совсем мулаткой, но получила обновку», – предупредил меня по телефону Иван. (Телефонные переговоры той поры заметно обогащали культуру иносказаний. А когда началась «переписка с заграницей», эта культура дошла до некоторой даже утонченности.) Потом она вовсе исчезла, та, самая любимая моя книжка. По-прежнему неизвестный, но по-своему добросовестный читатель переслал мне в виде компенсации заурядную ксерокопию.

Так и хранятся у меня все русские книги Набокова – в виде ксерокопий или зарубежных изданий. Заменить их здешними изданиями нет нужды, а главное – нет желания.

Жемчужина моей коллекции – вывезенный из Анн-Арбора прекрасный «ардисовский» альбом фотографий Набокова и его семьи, подарок издательницы.

Но – странное дело – мне уже давно не хочется кому-то показывать этот альбом. Перелистывание его страниц сопровождает чувство неловкости, что ли, – как будто увидел нечто, не тебе предназначавшееся. Эти фотографии хранят какое-то свидетельство не для посторонних. И я долго не мог понять, какое именно.

В возрастном изменении лица Набокова есть необъяснимая странность. Обычно больше всего меняются *черты* лица: рисунок нижней его части, линии рта, подбородка… Но глаза, их выражение – все это очень устойчиво и может измениться только в конце жизни, и то не самой счастливой. Часто случается, что мальчик похож на мать, но с возрастом в нем все заметнее проступает отец. (Так происходит со мной.) Но Набоков родился с отцовскими глазами, с ними и жил лет до шестнадцати. Где-то в Америке, по пути в Америку они снова к нему вернулись – ясные мужские глаза с твердым и охлажденным выражением. Но с ранней юности и до – по крайней мере – середины тридцатых годов глаза у Набокова совсем другие, материнские – зыбкие, гибельные, рукавишниковские.

Так получается, что Набоков-человек родился с отцовскими глазами (твердая прямота, ясность, напор), а рождение писателя пошло по материнской линии. А что потом? Потом надо было спасаться, спасать книги, спасать семью (в такой последовательности? в обратной?). Кто упрекнет человека, не оставшегося на гибнущем европейском судне, тем более – в почти бесплотном мире эмиграции (о котором Набоков издалека вспоминал с такой покаянной горькой нежностью). И уж тем более в России. Разумеется, я радуюсь, видя в телевизоре, как маститый советский литературовед тщетно пытается вытянуть из совсем уже старенькой, к тому же перебинтованной его сестры свидетельство о трогательной ностальгии, которую братец якобы прятал – из дворянской гордости – от *чужих*. Но мы-то свои, нам-то можно, сознавайтесь же, наконец. Нет, не созналась, семейная закалка сказывается. (Непонятно только, зачем она таких *своих* привечает.)

Но вовсе не все так уж «разумеется». «За немногими исключениями, все либерально настроенные творческие люди – поэты, романисты, критики, историки, философы и так далее – покинули Россию Ленина-Сталина. Те, кто этого не сделали,

исчахли там либо загубили свои дарования, прилаживаясь к требованиям государства». И здесь, в «Память, говори», и во вступлении к лекциям по русской литературе Набоков как-то слишком озабочен непротиворечивостью нарисованной картины, потому и сводит все оставшееся в России искусство к тем ублюдочным упражнениям, которые еще недавно проходили в старших классах советских школ. Все имена, неудобные обозревателю, неспособные вписаться в «краткое резюме», с непонятной легкостью остаются просто неупомянутыми. Имя Пастернака проскальзывает сквозь зубы, но здесь это автор «Живаго», «который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты». А ведь не только Набоков-поэт часто идет след в след за Пастернаком, но и прозаик Набоков обязан ему очень многим. Например, особым, основанным на физиологической метафоре остроумием. Ср. «по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда…» («Охранная грамота») и «скучен как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика» («Камера обскура»). Не уверен, что многого стоит и отзыв о прозе Пастернака. О Достоевском Набоков тоже отзывался сами знаете как, но в «Подвиге» очень много «Игрока»: вся любовная линия с другом-англичанином и вздорной гордячкой, которая, как выясняется, именно героя-то и любит.

Происхождение набоковской строчки «Какое сделал я дурное дело» слишком очевидно, чтобы стать моим личным открытием. Это, конечно, «Что же сделал я за пакость», переведенная с русского на американский русский. Неплохая шутка, но что-то от нее не весело.

Как будто это не он, кто-то другой сказал: «И когда я читаю стихи Мандельштама, написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира… Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой».

Иногда появляющиеся в разговоре о Набокове иронические обертоны были бы совершенно невозможны лет десять назад. Я думаю, что и сейчас они связаны с повторным набоковским кругом – с американским Набоковым. В Америке родился какой-то другой писатель. Конечно, он похож на первого и прочно связан с ним преемственностью литературных навыков. Но это второй круг, – писание по писанному. Кроме «Лолиты», конечно, и – отчасти – «Пнина».

Американского происхождения и кодекс (или комплекс)

«чемпиона мира». Ну, не смешно ли. Упорная и по лучшим рецептам работа с публикой и литературной общественностью, на удивление туповатой. С конца пятидесятых – несколько маниакальное, но очень аккуратное выстраивание личного мифа. Память, говори, да не заговаривайся. Но поза олимпийца как раз и доказывает небожественное происхождение.

Чары «Ады» показались сильнодействующими, но уже по-своему, по-набоковски патентованными. «Смотри на арлекинов», на мой взгляд, довольно печальный итог литературной деятельности автора, по всем признакам гениального. В сущности, это особый набоковский («nabokovi») подвид «нового романа»: писатель способен писать только о своих уже написанных книгах. Прочее его, в общем, не интересует.

Такое впечатление, что где-то после сорока (то есть после переезда в Америку) Набокова действительно интересовали только собственные книги. Остальные переживания – в том числе возрастные – остались за бортом. За бортом парохода «Шампелен», покинувшего Францию в мае сорокового.

Здесь и остановился писательский возраст Набокова. Должно быть, повлияла и атмосфера американского кампуса с ее как-никак несколько насильственной моложавостью и стерильной бодростью.

Виртуозные, но уже привычные трюки поздних набоковских романов приводят читателя со стажем в состояние некоторой меланхолии. Только великолепный, великий дар пересмешника не тускнеет. Юмор Набокова поразителен. Его можно было бы назвать черным, но этому мешает невероятное изящество и – добродушие, что ли. А точнее, чернота приобретает здесь вовсе несвойственную этому цвету прозрачность. И уже почти неразличимые атомы иронии вошли в общий состав языка Набокова, особым образом тонировали его.

Вот этот *тон* по крайней мере четверть века растворяется в нашей словесности, угрожая стать просто унифицированным «хорошим тоном» эссеистики. Но пока угроза не сбывается, – интонация не теряет личную окраску.

Некоторых, я знаю, стиль Набокова раздражает. Их, в общем, можно понять. Его сравнения иногда слишком густо смазаны («из жирных луж в шоколадных колеях»). Его описания все же статичны, часто самодостаточны. В конце концов, может вызвать раздражение даже та ловкость и оборотистость, с которой он строит фразу. Не все любят такие фразы – щегольские, до блеска надраенные. (Женя Харитонов, например, не любил, просто не терпел. Он любил Добычина.)

Я-то как раз люблю, но сейчас пытаюсь от подобной – неловко заимствованной – ловкости избавляться. Уши, вероятно, все еще торчат. Немудрено. Довольно рано прочитав все лучшее, что написано Набоковым, я буквально задохнулся от восторга и лет десять не мог этот восторг выдохнуть.

Еще я благодарен ему за точные, вполне узнаваемые описания некоторых состояний, которые прежде казались мне персональным ущербом. Описание сплошной, проходящей как будто сквозь каждый атом тела судороги – «болезненного беспокойства, нестерпимого нарастания мышечного чувства, когда приходится то и дело переменять положение своих конечностей» («Память, говори»). Лихорадка трогает сухожилия, паутинка бегает по лицу.

Личной и вполне неблаговидной аномалией я полагал и какое-то расслоение сознания, в котором обнаруживались вдруг замкнутые и недоступные контролю отсеки. Иными словами – разделение сознания на элитарное и массовое. Какой-то фон, какой-то второй голос, который обычно не осознается, – как некоторые не слышат включенное радио. Если же внезапно переключить внимание на эту вторую программу, обнаружишь, что там или исполняют популярные песни, или (вот интересно) идет дополнительный монолог и совсем не от твоего лица. Успеваешь ухватить кусочек: «креветки, креветки… чай с картошкой… кошелка с помидорами… не хочу ложиться». Говорит это какая-то баба с помидорным лицом, отчасти она и есть кошелка с помидорами. А вот «не хочу ложиться» – это уже я.

Ложиться все-таки приходится, и чем ближе подходит сон, тем мощнее работает вторая станция, корректирует и постепенно заглушает первую. Но работает она и днем, только на каких-то ультразвуковых волнах. Неслышно твердит что-то, бесконечно прокручивает одну случайную фразу…

Набоков, правда, называет это «легкими галлюцинациями»: «Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли» («Другие берега»).

Все цитаты из поздних (и как раз американских) книг, но что-то подобное, даже еще более точное встречалось и раньше. Только привычка делать выписки появилась слишком поздно.

Вот и слова «освежеванное сознание» перекочевали в мои записи из последнего романа Набокова «Смотри на арлекинов»: «Бесы неизлечимой болезни, „освежеванного сознания“,

распихивали моих арлекинов». Кто хоть раз испытал сходное ощущение, оценит его точность. Понятно, что это какой-то легкий, щадящий род шизофрении. Наверняка знакомый и автору, иначе откуда бы такая узнаваемость. Возможно, всю сознательную жизнь он скользил по грани, когда жить уже ни в какую, но и в желтый дом еще не пора. Это как-то чувствуется в его вещах. Нет, неправильно, – не в самих вещах, а в том, из чего они родились. В их начальном веществе. Он что-то знал о реальности, о самой ее ткани. И умел так натягивать ее, что кое-что удавалось различить на просвет.

«Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели». Как, какими глазами нужно читать, чтобы числить его по разряду литературных шахматистов и шифровальщиков. Какой слух надо иметь, чтобы не расслышать это вечное зашептывание, заговаривание… Поиск противоядия… Беззащитная хрупкость перед сворой тупых чудовищ… «В действительности, я тихий старый господин, который ненавидит жестокость».

Вот и я с тех пор, с юности, заклинаю личную пропасть его словами. «Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея». Кто эти «они»? Мне и самому трудно сказать с определенностью. Точно, что не нимфетки. Возможно, просто приметы жизни, сама жизнь, еще не подсохшая и не окороченная временем.

Мы сами не заметили, как перешли на его язык: «благодарю за учтивую цитату», «так-с, первая сальность» и так далее. Трудно сказать, сколько таких отложений, уже забывших о начальном авторстве, осталось в нашей лексике.

Вот, например, Иван описывает незнакомого мне человека: «Ну, представь себе Леню Глезерова, только ухуди его, прибавь ему такую (он протянул руку, показав на кафельную стену) эмалевую бледность и тот неврастенический звездный блеск в глазах, который бывает на семейных фотографиях у набоковских такс…»

Глядя, как мы с Витей щелкаем каблуками у двери туалета и приветствуем друг друга тявкающим «соболезную», посторонние подозревали, верно, какую-нибудь домашнюю шутку; пантомимическая цитата из «Подвига» различалась едва ли. Все первые годы общения сопровождались таким скрытым (скрытным) цитированием. Но когда мы встречались вдвоем или втроем, можно было просто открыть книжку и зачитывать целыми страницами.

Почти слышу ликующий и какой-то заоблачный голос Ивана, отчетливо произносящий слова из «Других берегов»: «Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня…» Голос звенит и плавится, как будто он читает о своем умершем, погибшем отце. Но нет, он читает о том отце, которого у него никогда не было. Настоящий его отец жив, и Иван его отчетливо не любит. По крайней мере, так мне тогда казалось.

Иван сказал про «Лолиту»: «Эта книга написана на пределе отчаяния». Я возмутился: «Как можно отчаиваться, написав такую книгу? Как вообще можно писать от отчаяния?»

Иван усмехнулся.

Я услышал о нем в тот, как говорится, знаменательный день, с которого началось какое-то другое направление моей жизни. Другие – не архитектурные – знакомства и связи, в сущности, другая жизненная программа.

В Ферапонтовом монастыре мы писали свои акварели. Темноволосый молодой человек с редкой бородкой маячил за нашими спинами, поглядывал на работы, кое с кем заговаривал. Я уже знал, что это Володя Казьмин – в просторечии Казик, – тоже из архитектурного, но со старшего курса. Он посмотрел на меня издали, очень пристально, внимательно и как будто перебросил свой взгляд поверх голов на противоположную сторону площадки. (Кажется, в том же году в Доме художника на Кузнецком мосту проходила выставка кубинских достижений. Самым привлекательным достижением был пожилой негр, скручивающий сигары на специальном станке. Готовые изделия негр раздавал желающим. Желающих было предостаточно, они протискивались в первый ряд – ближе к раздаче, – оттирая друг друга плечами. Я стоял среди наблюдателей, ряду в четвертом, и не сразу понял, что именно мне протянута поверх голов очередная готовая сигара. А негр смотрел на меня тогда так же, как теперь Володя, – избирательно.)

– Я сейчас иду в соседнюю деревню, – сказал подошедший Казик, – там живет моя приятельница. Не хочешь составить мне компанию?

По дороге он расспрашивал, чем я занимаюсь (увлекаюсь).

«Ага, стихи, так я и подумал. У Наташи, к которой мы идем, отец известный поэт, Яшин фамилия, слышал?» Слышал. Когда мы пришли, я утвердительно спросил у новой знакомой: «Ваш отец поэт?» Она темно усмехнулась: «Мой отец крестьянин». Наш частный разговор не складывался, и скоро они заговорили о своем, про общих знакомых. О каком-то Иване, который пробует писать, хочет стать прозаиком. «А что – очень может быть, – сказал Казик. – Человек он интересный».

Это знакомство (и все, что за ним последовало) едва не сорвалось: как только мы вышли из монастыря, я понял, что идти в ту деревню придется по скошенному полю, по стерне. Я был босиком и уже собирался отказаться. Почему-то раздумал. Казик потом рассказывал: «Я только на середине пути заметил, что ты босиком, и ужаснулся: как же ты идешь? Ты ответил, сильно заикаясь: „Да, мне б-б-больно“, – и продолжил разговор».

Мама зашла в комнату о чем-то спросить. Иван, впервые зашедший в гости, сидел на корточках, упершись лопатками в ребра батареи. «У меня прямо оборвалось что-то внутри, – объясняла она потом. – Вхожу, а в углу сидит такой… ну, Алеша Карамазов». Впечатление наверняка шло от глаз – от их *опрокинутого* выражения. Глаза серые, в общем небольшие. Но иногда взгляд шел сквозь тебя, явно не замечая преграды, и тогда глаза казались огромными.

В первую встречу я смотрел на него издалека и без очков, даже не рассмотрел хорошенько, но подумал почему-то: «Щеголь, маленький щеголь». Совершенно непонятно, откуда это пришло – точно, что не от одежды. Потом сразу стерлось, забылось. А все-таки было верным. Даром, что ли, он Константина Леонтьева любил. Маленький щеголь, Ванюша. Ему бы в лаковых сапожках расхаживать, а не в тех, солдатских.

А вообще-то все нормальные – то есть живые – люди внешне вполне забавны, иногда нелепы. Шмыгают носом, шевелят губами. Волос вихром. (Мысль в духе Честертона.)

– Ты еще прочтешь у Валери про этого интересного господина Тэста, – говорил мне Иван. – Конечно, он утверждает, что писать ничего не надо, да и читать, кажется, не надо.

– А что надо?

– А надо все помнить. Причем не только «на сегодня», но и на завтра. То есть надо помнить вперед: отбирать и запоминать то, что сегодня кажется ненужным, но когда-нибудь потом окажется самым важным. А я, кстати, даже не помню, как мы с тобой познакомились. Где это было, в институте?

– Нет, в институте я тебя в первый раз увидел, издали. А потом, уже в другой день, я стоял в читальном зале, сдавал книги. Подошел Казик, мы пошли вместе. Уже на улице он небрежно и как бы невзначай спросил: не хочу ли я зайти с ним к одному интересному человеку? Слово «интересному» он так растянул, немного иронически, как будто не ручается за это определение. Не берет ответственности. «Художник-абстракционист, – пояснил он, – Тарон, – это имя, а не фамилия. Сложный человек, но тебе, думаю, будет полезно с ним столкнуться… сразиться».

Когда мы поднялись на последний этаж, он просто толкнул дверь, и она открылась. Я удивился: «Так это еще не его квартира?» Казик усмехнулся, довольный: «Богема в отдельных квартирах не живет-с». В *его* дверь он уже постучал. «Входите!» – ответили очень громко, как будто хозяин стоял прямо за дверью.

На самом деле он сидел у окна, в самом конце неправдоподобно узкой, в ширину коридора, комнаты. Большую ее часть занимал дощатый топчан, на нем этот человек и сидел по-турецки, очень прямо. От темной (на фоне окна) фигуры шло грозное напряжение. Не сразу различилось лицо, красивое и мрачное, явно восточное. Я видел, что он смотрит на Казика в упор, нахмурившись. «А-а, – зловеще протянул он, и это „а-а“ перешло в „э-э“. – Это ты, Каз». И тут же, без всякого предупреждения пошел такой ругательский разнос, что бедный Казик (вроде бы уже победно сразившийся с этим сложным человеком) не мог и слова вставить. Все получалось совсем не так, как он предполагал. «Я таких, как ты, не люблю. – Художник не выстреливал словами, а метал их, как копья. – Я люблю так: приходит человек и прямо говорит: вот мое голубое, а вот мое красное. Вот Андросов решил у меня учиться живописи. Так я теперь его сюда не пущу, мы будем здесь водку пить, а он будет там, за дверью, потому что он – ученик». Постепенно выяснялся смысл разноса: Казик купил у художника книгу, не то икону, а это неправильно, следовало просто дать деньги, ничего не беря взамен. Но напор, я думаю, был спровоцирован тем, что появился зритель. Зритель, учти, совершенно анонимный, Казик не успел нас познакомить, и все это время Тарон как бы не обращал на меня внимания.

– А я там появился в какой-то следующий раз?

– В тот же, но позже. Ты был с Ниной.

– А как вела себя Нина, как она тебе показалась?

– Ты понимаешь, я-то считал, что там все свои люди и знакомы сто лет. И меня, помню, удивило, что держится она скованно, даже напряженно, хотя вся обстановка ей скорее

нравится. Или она очень хочет, чтобы понравилась, и старается расположиться к тому, что видит.

– Да-да, очень похоже.

– А ты только что приехал из Печор, не переодевшись и в тяжелых яловых сапогах. Эти сапоги просто заслонили тебя, потому что ты все время шагал из угла в угол, как маятник, но как-то не очень естественно. То есть ты *делал* каждый шаг, как будто они были тебе велики, эти сапоги.

– И это был я, несмотря на всю чувствительность!

– Пока ты так вышагивал, Тарон внушал тебе, как разговаривать с родителями: «…ты приехал жениться», – и так далее. Он и тебе рассказал про ученичество Андросова, но ты уже знал об этом от самого «ученика». Тарон спросил, что тот говорит. Вот тут ты и удивил меня в первый раз. Чем? Не знаю, неуступчивостью, что ли. Ну, казалось бы, почему не доставить человеку удовольствие, если все для этого готово и ничего решительно от тебя не требуется. Так нет. Ты ответил нехотя и очень сухо: «Говорит, что очень полезно». Тарон недовольно кивнул.

Не помню, откуда появилась водка. Мне налили полный до краев стакан, и его следовало выпить сразу, до дна. Этого никто не говорил, но я чувствовал: первый экзамен. Никогда раньше я полный стакан в себя не вливал, да и потом что-то не припомню. Но тут выпил, с таким, знаешь, выдохом – пан или пропал. Закуска меня тогда поразила: вынули откуда-то сырую сосиску – одну! – и разрезали ее на несколько частей. Я вообще не знал, что сосиски можно есть сырыми.

– Да, я помню твои рассказы о «субботах», где после разносолов еще выносят баранью ногу. Разве с такой закуской может получиться хоть какой-то путный разговор?

– Потом я стал тихо, но быстро пьянеть. Чувствовал, как опьянение поднимается откуда-то снизу, но не мог ничего сделать. Как вода в наводнение. Тарон сказал: «Ну, ты меня как-то узнал, теперь *Я* хочу познакомиться с тобой. Ты молчишь, это хорошо. Но нужно же мне знать, с кем я имею дело. Вот рисунки, разбери их на три кучи: что понравилось (если что-то понравится), что не понравилось и что оставило равнодушным». Папка была огромная, рисунков тьма, а голова уже не моя и руки тоже. Но ошибиться было нельзя, от этого зависело *все*. Я разложил. Он сказал: «Ну, ясно. Ладно, приходи».

– А когда ты читал свои стихи? В тот же раз?

– В следующий. Это же были стихи про него – «коршун, пасынок, юродство». Я хотел сделать еще рисунок и включить в него стихи, – так делал какой-то человек с молодежной выставки,

а потом Константинов. Но до рисунка руки не дошли, и слава Богу. Тарон сказал: «Да, все это во мне есть, и коршун, и юродство… Про пасынка только не знаю».

А тебе стихи, я помню, не понравились. Ты и тут не уступил.

«Я имею право вас учить, – говорил Тарон, – потому что я всю жизнь сплю на жестком».

«Не говори о живописи пренебрежительно, – учил он, – тогда мазки станут легче и прекрасней». И еще учил: «„Боярыня Морозова“ – она красная, только написана синим»… «Если они красоте предпочитают насилие, я должен писать насилие»… «Здесь я взял кусочек мастерства у Эль Греко, как он пишет белые ткани. Мастерства в том убогом смысле, в котором его понимают».

Или еще: «Не „какой-то“ Ван Гог, а Его Величество Ван Гог. Ван Гог заслужил свою смерть. Он выстрелил себе в грудь, а потом спокойно разговаривал с братом. Умирающий на снегу должен просить прощения у идущих дальше».

И еще: «Творчество – это ловушка, оно не дает опоры. Ты должен идти по канату, но не за мной. Кафка в жизни был вполне корректным человеком».

«Я должен был преподать тебе урок доблести, а дал урок страдания».

Иван о Тароне: «Все, что он говорил, казалось таким ясным и своим, и мысли не возникало, что это может когда-то забыться. А вот забылось. Просто никогда не веришь, что сам можешь измениться».

– Ну что, Иван, – говорит Тарон, – когда помирать будешь?

– Что значит «когда»? Когда Бог пошлет.

– Да? Правда? – обрадовался Тарон. – Я тоже теперь так думаю: когда Бог пошлет. А то ты, помню, мне всю плешь проел этими вопросами.

– А чем ты сейчас занимаешься?

– В последнее время – подделкой. То есть я вроде как поддельщик. Обнаружились у меня вдруг способности к таким вещам, как, например, – сделать шкатулку. Почему-то это никто сейчас не может сделать. А почему – неизвестно. А я вот могу.

Иван вдруг обернулся и, показав на буфет, очень резко спросил: «Это какое дерево?» Тарон послушно полез в карман, вынул очки. Вот так новости! Готовность подчиниться и отвечать на неудобный вопрос была еще более неожиданна, чем появление очков. В очках он уже совершенно на себя не походил: какой-то действительно ремесленник. Долго, безнадежно разглядывал

дерево. «Я думаю, дуб». – «Это орех», – отрезал Иван.

А после его ухода долго возмущался: «Тоже мне поддельщик, дуб от ореха отличить не может. „Я – поддельщик!“».

Иван, в отличие от Тарона, не навязывал другому свои условия. Он просто никогда не соглашался на чужие. Это несогласие выражалось ясно и без промедления, но у тебя хотя бы оставалось право отказаться или уклониться. Не помню, правда, чтобы я поспешил этим правом воспользоваться. Меня восхищала чудесная маневренность его мысли, ее неожиданная ловкость – безупречный интеллектуальный инстинкт.

Декорации для первой нашей совместной выпивки выбирал тоже Иван. Был, правда, и третий участник, Володя Тихонов, но тот распоряжался закуской: «Я предлагаю сырые яйца. Савва Морозов закусывал только сырыми яйцами». Ладно, принято. Купили сырые яйца по числу участников, каждый опустил свое в карман верхней одежды. На мне было кожаное полупальто, переделанное из отцовского – довоенного, длинного, с широкими обшлагами. (То – якобы старое – превратилось теперь в такой кожаный мешок на «молнии», очень неудобный для ходьбы, тем более для преодоления препятствий.) Вместо простой водки взяли почему-то «Старку», для изысканности. Отправились от института налево к Рождественскому монастырю, не доходя до него свернули в подъезд доходного дома, на черную лестницу. Дальше был чердак с развешанным бельем и узкое слуховое оконце, через которое надо было пролезать на крышу. До этого пункта все шло вполне празднично, но тут случился конфуз. Окно находилось довольно высоко от мягкого земляного пола, нужно было подтянуться и, упершись животом в нижний брус оконной коробки, переползти на скат крыши. Я подтянулся, уперся и… Как сейчас помню легкий, но ужасный, окончательный треск хрупкой закуски в левом кармане кожанки.

Удовольствие было испорчено. Я очищал карман и стряхивал с пальцев липкую слизь под сочувственным взглядом Ивана, брезгливым – Володи. Поделиться закуской было сложно, да я и не просил. Вид с крыши действительно открывался красивый, но вкус «Старки» я не выносил еще лет двадцать после этого случая, да и вообще не терпел цветную водку. Потом прошло.

Немного об одежде, если уж зашла речь. Печальная судьба дивного кожаного пальто вполне типична. Одежда шестидесятых годов соответствовала своему полувменяемому времени. Ей не хватало духа быть откровенно *прежней*, немодной (но

стилистически индивидуальной), а стать модной у нее не было никаких шансов. Одежда была никакой, но «с претензией на что-то». Какие-то всё погончики да необязательные карманчики. На этом фоне Иван с его неизвестно как сохранившимися нэпманскими картузами и парусиновыми кителями *со стоечкой*, конечно, очень выделялся.

Милиционеры и все, им подобные, считали, что он выделяется не в лучшую сторону. Странный человек сразу привлекал к себе их самое пристальное внимание. Но бывало и наоборот. Историю в метро я знаю только в пересказе, но легко могу представить оторопь постового, которого Иван треснул кулаком по небдительной спине. Так – ни с того ни с сего, для начала общения. Поступок был настолько непонятный, что на нарушителя не стали заводить дело. Но общение, конечно, последовало.

Милиция всегда была так близко, непонятно даже, как все обошлось без серьезных неприятностей. Стоим однажды в винной очереди, с тоской разглядываем полки. Стоящий впереди нас пьяный человек в болонье и расстегнутой до пупа ковбойке вдруг оборачивается и что-то мычит. Иван понял, достал пятерку. «Сдачи не будет», – буркнул наш багроволицый продавец и вытащил из авоськи бутылку. Мы повернули к выходу. И тут какая-то толкавшаяся рядом ребятня плотно взяла нас за локти. Уйти было невозможно: оттолкнув одного, ты втыкался в другого. Они восставали как пораженные мишени в тире и рычали свое: «Р-рейд! Др-ружина!» Весь магазин, казалось, состоял из них – длинных и рукастых, чем-то очень похожих на того, кто продал нам водку.

…Незакрашенный контур давно снятого бачка. Отпечаток снесенного дома на брандмауэре соседа – лоскутная внутренняя покраска, оказавшаяся на виду, как будто дом не снесен, а вдавлен в стену взрывной волной. Завещательная проза мелом на кирпичной стенке: «я тоже». Фраза, показавшаяся мне сутью моего мировоззрения, уместилась на одном кирпиче.

Излюбленными местами Ивана были заброшенные и назначенные на слом дома. Или дворики около таких домов. Или на худой конец странные предприятия, которые сторожили по ночам его товарищи.

Иногда довольно неожиданные. То есть неожиданными оказывались то его приятели, то охраняемые ими объекты. То сразу – и приятели, и объекты. Помню огромный мрачный коридор, где по стенам висели мемориальные доски, и одна из них удостоверяла, что именно здесь работал академик Збарский.

Значит, не врал наш друг-сторож, и мы действительно находились в секретном институте, в спецлаборатории, чьи усилия только и поддерживают в относительном порядке набальзамированное тело вождя. И не одного вождя, а нескольких, утверждал наш друг. «Они от нас зависят целиком и полностью, они у нас вот где», – и он со значительным выражением показывал кулак. Его патриотизм – по крайней мере в отношении вверенного на ночь учреждения – казался искренним. И это было немного странно, потому что ему только недавно разрешили вернуться в Москву; он вообще-то был из «группы Огурцова», планировавшей когда-то по-своему встретить юбилей правящего строя. Гордость успехами жутковатого института и недавнее антисоветское прошлое – это как-то не связывалось.

Мы долго выбирали подходящую лабораторию. Удивительные это были помещения: какая-то смесь прозекторской и школьного химического кабинета. Очень грязные окна, тяжелые столы, вдоль стен пробирки, клистирные трубки. Грязные раковины, таких уж и не встретишь. Пили, конечно, из пробирок. Сторож принес спирт, довольно подозрительный. Я покосился, он меня успокоил: «То, что в нем плавало, я выбросил».

– Расскажи про деревню, – попросил Иван, – ты хорошо рассказываешь.

Рассказывал сторож не очень хорошо. Я бы сказал, ужасно. Он и внешне напоминал перенакачанный мяч, и говорил, как этот мяч, толчками. Задушенный голос без конца перебивался непонятным смешком, или ритуальным покашливанием, или междометиями, которыми он словно понукал самого себя.

– Расскажи про блаженного Августина.

Тот согласился.

История о блаженном Августине

Наш сторож жил тогда в деревне и работал лесником. Подружился он с неким Августином и дал ему почитать Библию. Августин долго не отдавал книгу, читал. Потом заперся и день-два что-то писал. Была осень. Рядом с домом, где заперся Августин, мальчик удил в речке рыбу. Августин взял охотничье ружье и первый заряд выпустил в мальчишку. По счастью, не попал. Тогда Августин выбежал из дома и с криком «Щас буду делать мясо!» побежал по деревне. Деревня попряталась по огородам. Августин влетел в избу к мужику с перебитыми ногами.

(Тот в детстве подорвался на мине, но говорил, что всю войну прошел.) Мужик был уже под кроватью. Никого не увидев, Августин прицелился и выпустил второй заряд в икону, прямо Спасу в переносицу. Тут и набросились. Августина связали и вскоре отправили в сумасшедший дом. Деревня решила: потому рехнулся Августин, что лесник давал ему есть желтые плоды, которые привозил из города.

Желтые плоды – это апельсины.

– Да-а, – сказал Иван, – все еще густо живет провинция. Был недавно в Кашине, видел плакат, на нем коровья морда и надпись: «Удвой удой, утрой удой, не то пойдешь ты на убой». Какие-то францисканские идеи.

Еще одна история, рассказанная сторожем

…И вот привязался на улице к этому христианину такой крепыш в нейлоновой куртке. Как потом выяснилось, стукач. Но не простой – артист своего дела и любит его по-настоящему. Лебедев своего рода. Слово за слово, и пошел у них скоро довольно интимный разговор. «Вы христианин? – спрашивает крепыш. – Христианин, – отвечает христианин, он ведь христианин. – И что? И куда едете? И к кому? А можно я вас до вокзала провожу?» Проводил и посадил на поезд. Вот поезд трогается, а крепыш вдруг обнял христианина, притянул так по-братски и шепчет: «Что же ты дрожишь, дурачок?»

– Пашу очень шокировал отец Алипий, – рассказывал Иван, – как он *затворяется*, а когда отходит – стреляет с балкона в ворон из стартового пистолета. Или, высунувшись из окна, разговаривает с толпой старушек-просительниц: «Сохнут, сохнут еще, сохнут». В смысле – деньги только что напечатал, и они еще сохнут. А Пашу он спросил: «Какое из художеств по чину первое?» Тот смутился и не смог ответить. Но ему все равно дали рекомендательное письмо в Уфу к владыке, который тоже кончал архитектурный институт. Паша был счастлив, но потом ему сказали: «Только нужно сговориться с уполномоченным». А тот сразу завел разговор об уфимской прописке и о том, что «ездют разные, владыку беспокоют»… А в Вербное воскресенье отец Алипий угощал нас, не понимая чем, что кухарка поставит. «Коньяк! Двадцать пять рублей! – И с задержкой перед моей рюмкой: – Будешь? Ну?» – «Если благословите, святой отец». – «Да? Так?» – и наливал.

…Когда как следует начитаешься этих святых книг, начинает казаться, что и ты святой. Тогда я и начинаю пить – чтобы войти в контакт с самим собой.

…Есть в монастыре один старообрядец, старик-иконовед. Говорит: «иконки», «лики». Ру бит дрова и возит их на детских саночках, старается протаскать подольше, увеличить путь. Нет, все-таки я живу среди каких-то ватных чучел. Все наоборот: теперешний отшельник – это человек, который все приемлет. Мотылек. Асаркан – вот он-то и есть аскет… Ах, как я тоскую по блестящим людям! Есть что-то в дендизме. Денди не человек, проводящий пятнадцать часов перед зеркалом для получасового раута, а тот титулованный немец, что расставлял слуг с кисточками разной длины – а на кисточках пудра разного цвета и запаха – и проходил быстрым шагом через весь ряд.

…Отношение к Богу как к газете «Правда». Читаешь: «наступление патриотических сил». Ну да, знаем мы это наступление! «Паника в Сайгоне» – ну да, там уже пять лет такая паника. «Бойцы народного фронта на подступах к столице» – какие там еще подступы! И вдруг: «Сайгон пал». Это что же – выходит, все правда? Да нет, нет же. Просто правды нет никакой.

Мы виделись не ежедневно, может быть, не так уж часто, но этот разговор – он шел постоянно, непрерывно. Менялись только декорации. Вокзальный буфет, где торгуют пивом и особыми ночными сардельками. Милиционеры у стойки и их потенциальные клиенты с дальних столиков удивленно смотрят на двоих молодых людей, оживленных не к месту и не по времени. Световое табло в конце зала показывает 2. 45. Почти слышно, как гудят неоновые лампы разноцветных указателей.

– И все-таки у Олеши это не могут быть только фразы, записанные на клочках: там начисто отсутствует неряшливость.

– Вот именно. Фраза обкатывается, когда некоторое время нет возможности ее записать. Но при этом она замыкается в себе.

– Это верно, но ты исходишь из своего опыта, а я из своего. У алкоголика не может быть ясности на долгий период, но есть навязчивый, повторяющийся ритм, то есть интонация, в которую закладываются все равно какие, даже случайные слова. Это я и называю неряшливостью.

– А вот каламбуры всегда сами по себе и все разрушают. Выдь на Волгу – Чейн-Стокс раздается?

– Здорово. А мне сегодня в полусне пришло такое: как интересно мы устроены, у нас есть верхние веки, нижние веки, но есть и средневековье. Но это звучит только в потоке, вместе с концепцией «Войны и мира», а ее я сейчас не могу пересказать в

силу событийных условий. Там есть определение Наташи Ростовой, в которое «все втекает». Короче, мы читаем не то, что он писал, а когда перечитываем, знаем, что мы *перечитываем*. И никуда от этого не денешься… Есть у Толстого хрестоматийный кусок про наступление весны: на три дня все покрыл туман, и что-то там происходило, передвигалось, менялось… Вот и со мной так. Что-то происходит, – я не знаю что. Надо мной кружит беда. Бывает так, ночью, на даче особенно: где-то со звоном разобьется стекло, и потом уже невозможно заснуть… Одно дело, когда ты знаешь, что несчастье суть жизни, и другое – когда вот, уже, это происходит с тобой. И когда мы шли там по Швивой горке, и я слова не мог сказать от такой тоски, что ребра потрескивали, – это и была жизнь. Теперь я разговорился, и все ушло, исчезло. Там я тянул сеть, как рыбак, задыхаясь от тяжести улова, и вот она снова пуста. Только там чувствуешь тяжесть и полноту жизни, но писать невозможно, а когда возможно – о чем писать? Как раз наполненность собой и невозможно вынести. А при отношении к жизни как к чужому возможен эксперимент. Кто там делал себе прививку?

…Я не считаю, что водка – это болезнь. Это не то, с чем я хотел бы расстаться. Это часть меня, это не струпья. Водку мне заменить нечем, по крайней мере сейчас. Только она дает мне некоторые пороговые состояния, приближающие к тому, что можно назвать «реальностью». Реальностью по Сартру – «тоска, тошнота»… Доктор спросил меня: «Но ведь вы хотите что-то понять, как же вы сами разрушаете свой единственный инструмент – свой интеллект?» Да, так. Да, это эксперимент с открытым финалом. Или – или… Понимаешь, жизнь как чужая лодка. Лодка плывет, но не ты в ней хозяин. Перевернется – ну что ж, хозяин не ты.

– Вы новый Ванин товарищ? – спросила его мать при знакомстве. – У Ивана много товарищей, но хороших людей среди них мало.

Низенькая седоватая женщина смотрела на меня строго и подозрительно. Только что был телефонный разговор с отцом: «Да, приехал. Ничего, все в порядке. Он женится. Что „ерунда“? Женится, я тебе говорю».

Изредка она мне звонила, спрашивала, не у меня ли Иван. Или так: «Это у вас он был вчера? Что же у вас там происходит? Он даже раздеться не смог». Я пытался объяснить, что ничего бы не изменил, отказавшись, но как это скажешь, какими словами? «Ваш сын все равно пил бы, только в случайной компании или один». Так, что ли? Прошло много лет, прежде чем мы

понравились друг другу. Впрочем, нет: мне-то она нравилась с самого начала, несмотря на строгость и хмурую прямоту. (Может, поэтому и нравилась.)

Но настоящая паника начиналась, когда он, совершенно пьяный, куда-то исчезал, убегал. С каждым годом все чаще и все изобретательнее. Однажды хватились: где Иван? Нет Ивана. Никакого Ивана Ивановича. Дверь по техническим причинам открыть не мог. Оказалось, выпал с балкона, не нарушая мирного течения праздника. Это был второй этаж, но мог быть и двенадцатый, если бы пошли в другую квартиру. Морозов тогда сказал: «Я должен учиться у Вани великой скромности поведения».

О причинах побегов можно было только догадываться. Что-то выяснялось потом, что-то он рассказывал сам.

– Страх – это нормальная составляющая жизни, – сказал Казик и низко, как кошка, склонился над чаем, который он пил из блюдечка. Иван вдруг накинулся на него: «Ну, что ты говоришь? Ну, сам подумай, что ты сейчас сказал?».

– А что особенного?

– Вот именно – «что особенного?» Вот так же те Ивановы, ленинградцы, полвечера говорили о детях. Это было настолько невыносимо, что я соскочил со своего подоконника и сказал что-то вроде: «Когда христианам не о чем говорить, они почему-то говорят не о погоде, а о детях». И убежал, конечно.

Способность убегать развивалась с годами, принимала разные формы. Например, домашнее музицирование. Главное – убежать от разговора, не обязательно на улицу. Можно вытащить самодельную дудку или просто уснуть.

…Уж не знаю, зачем я его разбудил. Неприятно скалясь, втянув голову, подгибая ногу он выполз в коридор: «В уборенку хочу, в уборенку хочу». Пошел в уборенку.

На кухне весь стол заставлен грязной посудой. Иван пришел и начал без толку все переставлять, стукая предметом о предмет. Витя уронил коробок, Иван царапнул в такт, – и понеслось. Витя вытащил свою знаменитую дудку и заиграл. Иван изображал ударника. На дворе уже ночь, а музыка играет так громко. «Не надо так громко!» Витя вышел из «квадрата» и вытер губы: «Вот ты шикал, а напрасно. Ты о соседях, что ли, думаешь?» И как бы случайно дуднул еще разок. Иван поддержал его ножиком по чашке. Чашка с каждым ударом подвигалась все ближе к краю стола, и я внимательно следил за ее перемещением. Ритм-группа принялась за собственные колени, потом лапой об стол, потом

кулаком по лавке. Гром страшный, но чашку я незаметно прибрал. Ладно, буду помалкивать.

Они погружались в свой ритм, а он явно уводил их из моего мира. Чем однообразней и назойливее гремели ложки-вилки, тем хуже, грубее становились лица, с каждым ударом теряли еще часть выражения. Оп-оп-опа-оп. И снова: оп-оп-опа-оп.

Вдруг что-то произошло со мной. Как будто из ушей выпала вата, и дикая какофония захлестала по живому. Я заткнул уши: «Перестаньте, я больше не могу!»

Недоуменная пауза. «Ну, зачем ты так? Кто же виноват, что такой разворот приняло веселье». Витя подошел и долго в упор меня рассматривал. Я не поднимал глаза. «Упаси Бог, Миша! – начал он, и долю секунды мне казалось, что он хочет извиниться. – Как ты рявкнул на всех! Упаси тебя Бог, – ты рявкнул как свинья». И повторил еще раз: «Как свинья».

…Я спал, придавленный собственной тяжестью, и проснулся от своих же стонов. Рислинг, оказывается, не допили. Не свет, а тоже какой-то воздушный рислинг сочился в щели между плотными шторами. Крайняя была отдернута, и в световом облаке маленький попугай кувыркался вокруг розовой погремушки. Он бился о погремушку зеленой грудью, та раскачивалась и гремела.

Меня поразил человек, зашедший вчера с приятелем «на часок». Обсуждалась, помню, смешная фамилия этого приятеля: не то Хохот, не то Гопак. Оба были топорно оживлены и еще долго датировали какие-то распри своей учрежденческой курилки.

Теперь он сидел в углу, бледный, обросший, зябнущий. Кутался в пальто. Пальто безнаказанно грызла собака. «Куси его, ку-си! – науськивал собаку Витя. – За яйца его, Норочка, сегодня он их все равно лишится. Норочка! Тетерев! Паф-паф!» Витя вскакивает, изображая охотника. Спаниель бешено лает. Зеленый попугай срывается с подлокотника и мечется по комнате. Общая суматоха, хохот и гопак.

А еще был вечер, когда я отлучился всего-то на час-полтора, вернулся бегом, и как екало в груди от ожидания чудного праздника с патефоном и кучей старых пластинок. Боже, Лещенко под водку! А пластинки уже были на полу в мелких осколках (чужие, на один вечер одолженные), и Иван, шатаясь, ходил по ним с невозможной улыбочкой. А Витя? Витя сидел в углу, неподвижный и совершенно невозмутимый. А родители Ивана? Родителей, видимо, в тот раз не было.

Я все-таки старался их избегать и обычно не звонил, – кричал в форточку (они жили на первом этаже). Штора отодвигалась, появлялось лицо Ивана. Он махал рукой: заходи! Или делал остерегающий знак: сейчас выйду. Если «заходи», то я сразу проскакивал в его комнату, как в жилое помещение какого-то музея, где резной шкаф и часы с боем, зеленый колпак старой лампы, зеленое сукно письменного стола, сундук, гравюры. В другие комнаты я почти не заглядывал, но по аналогии считал их такими же обжитыми, старомосковскими. Родовое гнездо.

– В том-то и дело, что эта квартира обманывает, она вовсе не старомосковская, – объяснял Иван. – До моих шестнадцати лет родители жили по экспедициям, потом в малогабаритке, а там вообще ничего невозможно. И когда я бывал в гостях, именно обилие всяких ненужных или использованных вещей казалось мне признаком налаженного быта. Шкаф? Я сам его купил на Преображенке. Что еще? Пианино привезли с другой квартиры и еще трахнули при перевозке, боялись, что не выживет. А эту копию отец купил в Керчи у дипломника, причем и отец и дипломник очень горды тем, что это единственный пейзаж Айвазовского, где море спокойно. Подлинник, кстати, в одну четверть этого полотна.

Его комнату я мог рассматривать часами. Экспозиция каждый раз немного менялась. В тот раз поменялась даже обстановка, из старой сохранился только шкаф – мощный, с хитрой резьбой начала века. Вместо большого письменного стола маленький, женский, на гнутых ножках, но тоже с зеленым сукном. По углам подсвечники. Ширма с красными и синими стеклами. На столе лилии в необычной бутылке, раковина в форме челюсти, два шарика, прозрачный и матовый. Если приглядеться, таких натюрмортов довольно много. Буддийский свиток на стене, рядом безрукий деревянный ангелок, опоясанный шпагой. Шпага настоящая, старинная. На двери домовой номер с обожженным тузом и сухими листьями. Вместо рабочего стола – занимающая полкомнаты крышка рояля. (Недавно я помогал ее затаскивать; затащили еще станину с натянутыми струнами, чтобы играть на ней, как на арфе, остальные части рояля не поместились и остались там, на помойке.) Крышка завалена бумагами, и все приходится ставить на пол: чайник, чашки, рюмки. А спит хозяин на сундуке, приставляя к нему стул. Но сейчас он не спит, и я сижу рядом, не могу уйти. Я боюсь оставить его одного.

– Это стена огня. Понимаешь: между человеком и человеком стена огня.

– Через которую я все время посылаю лазутчиков. Но все же умные люди, все же заранее знают, что дело не выгорит.

– «Все, что вы ни говорите, сердце трогает мое». Это из другого «Недоросля». Все, что вы *не* говорите… Прототипом Стародума был отец Фонвизина. Фонвизин вспоминает, что когда его отняли от кормилицы – а было ему уже года три-четыре, – отец спросил его: «Что, дружок, тяжко?» – «Ох, батюшка, так тяжко, что, кажется, и себя и тебя бы сейчас в землю вогнал». И тебя и себя вогнал бы… Я на все смотрю с другой стороны, со стороны смерти, что ли… Да, почему бы не сказать так? Со стороны смерти.

…Тебе сегодня звонила Лена? Нет? Понимаешь, между ее звонком и твоим я успел только закурить сигарету. Поневоле кажется, что вы сговорились. Тебе хотят показать, что с тобой случилось несчастье… Ну вот, я становлюсь похожим на Тарона с его темой предательства. Посмотри, какой у меня язык, от вина, что ли?

Он высунул язык – почти черный, как мостовую лизал. Веки припухли, и лицо от этого изменилось, как у человека, искусанного пчелами. Зрачки превратились в темные точки и тут же скрылись, не увидев чего-то или испугавшись своей требовательности.

– А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Двоих котят, почему-то в ванной. Я проходил по коридору и вдруг услышал дикий, человеческий крик… Заглянул и увидел все это. И тогда я просто взвизгнул, набрал номер Матросской Тишины и сказал абоненту, что она настоящая маленькая Иуда… Ты заметил, кстати, что только Иуда в иконографии изображался в профиль? А сейчас, похоже, только он один в фас… Тут все шло одно к одному. Вчера же узнал, что Мошкин умер. Прыгнул и разбился. Непонятно только, где он в этом монастыре нашел нужную высоту. Я ведь по себе знаю, что со второго этажа прыгать бесполезно. Или он прыгал головой вниз?

Помнишь, как Тарон говорил: ты пойми мою душу. Ты пойми: бывает, что выпадет хорошая, выносимая душа… судьба. Это же не для всех так. Но подумай о трезвиловке, о сырых простынях, об этой беленой комнате… Как же я могу уважать себя после этого? Как я могу допустить какую-то симпатию ко мне с чьей-то стороны?

…Когда мне было три года, я тонул. Потом я забыл об этом и вспомнил только года в двадцать два, когда впервые началась бессонница, и потом я загремел в больницу. Мы купались с братом. Тогда вместо спасательных кругов были просто шины… с таким еще, знаешь, железным соском, который всегда царапает кожу. Брат посадил меня в этот круг, оттолкнул, а сам чем-то отвлекся, занялся фотографированием. Постепенно волна отнесла

меня на более глубокое место, и я просто выскользнул из этой шины, опустился на дно. И тут, – мне никто не мог этого рассказывать, я спрашивал у мамы, она об этом даже не знает, брат ей не говорил, – и тут такое четкое воспоминание: я вижу чистое песчаное дно с такими полосками как на нёбе, если провести языком, и на этом песке я вижу лежащего младенца, розового, чистого, в совершенно младенческой позе, – скрюченного, с поджатыми ногами, а рядом шевелится пучок водорослей, и все это через ячеистую сетку света, через расходящиеся, играющие солнечные пятна. И я медленно поднимаюсь над всем этим. Поднимаюсь над этим младенцем и вижу его, удаляющегося. И все. И нет страха. Это не страшно. Такое облегчение, что это не страшно. Смерть – это не страшно, это не тупик. Я всегда ужасно боялся смерти. Вернее – последнего мгновения, последней судороги жизни.

– А почему я не боюсь?

– Я не могу этого объяснить. Кто-то, верно, за тебя раньше потрудился. Жизнь более добра к тебе. Ты ведь любишь своего отца, уважаешь? А я нет. Я не способен на ненависть, но я ненавижу эту силу, которая произвела, вытолкнула меня на свет. Я с ужасом и страхом вижу в себе его черты… И Фрейд здесь ни при чем, это ужасно плоско…

…Я никогда бы не сказал это Тарону. Да он и так все знает. У Тарона дикая интуиция, звериная. Но это черное зрение, это человек черного свечения. С Тароном я на самом деле – вот так!

И он ногой отпихнул что-то невидимое. При этом глаза у него ясные и ласковые, а в секунды особенной муки, когда он плашмя бросается на кровать или кусает руки, – тогда они особенно ясны.

– Я тоже становлюсь этим… визионером, что ли? Я действительно вижу все, что происходит. И даже могу предсказать. Но это темное зрение… или бесцветное. Света тут нет никакого. Пойми, нет ничего хорошего в таких прозрениях. Я как медиум, меня ведут. Какая-то чужая, чуждая сила ведет тебя и управляет тобой. Обезьянья лапа. Это бред, который всегда сбывается. Вот, наконец, точные слова. Из всех ситуаций я выбираю худшую, и она всегда сбывается… Но есть ощущение, что все еще не кончилось… Все может быть подвержено пересмотру. Какой-то переоценке… Мне нужно сменить тело… Конечно, я сам загнал себя в этот угол… Если я не напьюсь до полусмерти, я не усну до утра. И опять искусаю себе все руки… Нет, не могу больше пить. Я не могу больше пить, но что же мне еще делать? Я же не могу ни молиться, ни просить…

Последние слова он говорит через подстилку, которой замотал голову, и я его уже почти не слышу, только угадываю

отдельные фразы.

– Иди, ты же не можешь мне помочь… ты же не можешь положить мне руку на голову… А бесноватых исцеляют только так. Все очень просто. Только надо положить руку на голову.

Из одного ящика

Стократ благородней тот,
Кто не скажет при блеске молнии:
«Вот она – наша жизнь!»

Басё

– Ну, это уже совсем *ничего*, – сказал Женя про какое-то (я помню, какое) мое стихотворение, глядя на Леню поверх меня, как будто обсуждался отсутствующий автор. Я немного удивился: мне казалось, что и раньше бывало *совсем ничего*. Конечно, они были несколько надменные молодые люди, но на мехмате все такие. Так или иначе, самый скромный из всех ритуалов состоялся, и я почувствовал себя членом Цеха. Год – 1968-й.

Они были первыми живыми поэтами, которых я увидел, хотя людей, пишущих стихи, повидал уже достаточно. В шестидесятых годах народилась в Москве разнообразная культурная флора: множество компаний с литературными интересами, кружки около литобъединений, подобия салонов. Культурная активность в те годы была невероятная, потом такое уже не повторялось. Казалось, что большинство студентов любых институтов и половина старших школьников пишут стихи. (По крайней мере, постоянно их читают.) Совершенно непонятно, куда потом делись эти тысячи многообещающих авторов.

Должно быть, массовость занятия и снимала психологические предпосылки к какому-то объединению поверх кружков и компаний. Не станут же, например, стремиться к кооперации любители лыжных прогулок или недорогих крепленых вин. Кроме того, выйдя за границы кружка, ты оказывался уже не в группе, а в толпе пишущих стихи. А для автора, даже начинающего, такое соседство очень некомфортно.

Но прежде, чем выходить или не выходить за границы кружка, нужно было в них оказаться. Мне было лет шестнадцать, когда приятельница повела меня в поэтическую студию Дворца пионеров на Ленинских горах. «А какие стихи они пишут?» – интересовался я по дороге. «Как „какие“? – удивилась приятельница. – Нормальные. Про Москву, про любовь, про что еще? – про дождь». (Надо заметить, что в теме дождя присутствовала даже некоторая оппозиционность: не всегда, мол, хорошая погода, случаются и дожди, ну и ничего страшного.)

Сейчас почему-то яснее всего вспоминается

руководительница этой студии: полная молодая дама, похожая на учительницу начальных классов, с озабоченным и несколько отсутствующим выражением лица. Усаживаясь, задвинула под стол две тяжелые сумки с продуктами. Звякнули молочные бутылки.

Мне показалось, что она не очень понимает, как вести занятие, и компенсирует это хмурой педагогической собранностью. Все сидели рядком (сейчас мне даже видится, что стояли, но нет, это уж слишком), и каждому – слева направо – предлагалось прочесть что-то новое, остальным – обсудить услышанное. Обсуждение не завязывалось. Я читать отказался, сказал, что пришел просто послушать. Улыбнулась понимающе.

Не все читавшие показались мне талантливыми авторами, но двое-трое поразили литературной искушенностью: хоть сейчас отдавай в печать. А один мальчик читал очень смелые стихи, такие и в журналах не встретишь. «Голубым автобусом – лоб в лоб – / Вылетит откуда-то моя любовь».

Отец очень смеялся, когда я ему это прочитал, и передразнивал: «Моя любоп?» Он не понимал, что это *современные* стихи.

Люди непростительно забывчивы, особенно на собственные глупости. Никто не вспоминает сейчас уникальный общественный климат ранних-средних шестидесятых: на диво оптимистический и благожелательно-коллективистский, полный уверенности в постепенном улучшении жизни. Время открыто любовалось собой. Все у него было новенькое, с иголочки.

Читатели стихов ждали от своих кумиров пусть совершенно элементарных, но резких сигналов новизны: даже не знаков, а значков принадлежности современному стилю жизни. Это словечко – «современность» – было из самых ходовых и знаменательных. В качестве прилагательного оно брало на себя все содержание и всю ответственность за существительное. Казалось, что наступающее время обладает очищающей способностью. Главное – соответствовать времени, то есть осуществлять себя в современных формах. Новации осторожно обходили по периферии всю область смыслов. Сейчас немного неловко пересказывать звучавшие в стихах бунтарские идеи той эпохи, могут и не поверить. Например, идея, что можно носить узкие брюки, но в глубине души оставаться честным советским парнем. Или… Да впрочем, и остальные идеи лишь модификации этой.

Мои стихи никак не хотели становиться современными, а ко времени поступления в институт и сама эта современность

обрыдла невероятно. В литстудии я больше не ходил, но с пишущими людьми знакомился охотно. Люди были в основном хорошие. Стихи были если не плохие, то привычные. Учась на втором курсе, в гостях у Леночки Васильевой я познакомился с Леонидом Иоффе и Евгением Сабуровым. У этих двоих стихи были непривычные. Не современные, но очевидно и неожиданно новые. В них был какой-то освежающий железистый привкус, выделяющий эти вещи из моря «стихов».

Тут нужно кое-что уточнить. Ставя слово «стихи» в кавычки, я имею в виду не сам факт использования конвенциональных стиховых форм, но *результат*, не выходящий за границы ожидаемого и как будто предопределенного. (Мне кажется, что выделение актуальных стратегий по принципу простого удаления от привычных форм порождает совершенно инерционную и предсказуемую практику; подчиняет искусство какой-то линейной логике, которая никогда не оправдывается.)

Но и разработанное стихосложение воспринималось как «вещь в себе»: как закрытая система смыслов с мощной инерцией – способностью перенастраивать начальные стиховые импульсы и вводить их в привычное русло. И если ты не научился сопротивляться этому подчиняющему воздействию, система начинает говорить и мыслить за тебя. Начинает за тебя писать твои стихи.

Собственно говоря, речь и идет об ощущении предопределенности, заданности. А присутствие конвенциональных форм как раз продуктивно: очевиднее *отклонение* (если, конечно, оно есть).

В тех современных стихах, которые мне были известны, отклонений не наблюдалось (Сатуновского, Некрасова, Красовицкого или Еремина я тогда не знал). Не было новых стихов, которые были бы соприродны старым, то есть предполагали подобный *тем* стихам запас прочности. То, что опыт жизненной реальности дошел до нас через разрыв в несколько поколений почти исключительно как потаенное слово, делало эти вещи – реальность и слово – синонимами. Позволяло верить в превосходящую обстоятельства силу слова, в его неистребимость.

Прочитанные мной в шестьдесят восьмом году стихи Леонида Иоффе как будто сохраняли все традиционные поэтические качества. Неожиданным было то, *как* они их сохраняли: словно в другой концентрации, с повышенным напряжением, с какой-то завораживающей экзальтацией. Стихи говорили о привычных, часто будничных вещах, но в самих стихах не оставалось ничего будничного, любое слово шло там как на праздник, как на парад.

Иоффе так соединял слова, что природа их менялась на иной, гармонический лад, и стихи соответствовали тому жизненному состоянию, когда взор и разум открыты и напряжены до предела.

Я не избежал здесь слова «гармония», хотя оно мне очень подозрительно. Слишком похоже на «германию». Но чем же его заменить? Разговор о состоявшейся поэтике поневоле ведется в каких-то метеорологических терминах. Мы говорим о силе, направлении и скорости. Похоже, что речь идет о каком-то ветре. Но это ветер, который дует, потому что деревья качаются, и в событиях языка оживает движение других событий.

Много позже, во время присуждения ему израильской литературной премии, Иоффе сказал о самом для себя важном: о поэтическом магнетизме, о границе «между самонесущими стихами и коверкающим поэтический вкус эпохи версификационным повествованием». «Самонесущие» звучит не очень ловко, но я до сих пор не нашел, как бы иначе определить стихи, не имеющие другой опоры, кроме внутренних оснований: побудительного ритма и возникающего из ритма строя. Стихи, которые сами по себе. (Потом я пустил в оборот не более ловкое, но очень понравившееся Лёне словечко «подвывих»: «Тот особый подвывих, который отличает поэтическую речь от иной, должен проходить равномерно через весь ее состав…»)

Уже через несколько месяцев я был наполнен их стихами, знал наизусть и читал всем подряд, не очень заботясь о подборе слушателя. Помню, как человек, сидящий рядом на курсовом проекте, устало оборачивается: «Может, хватит?» И я понимаю, что бубню вслух какие-то стихи, – их стихи. У моих институтских приятелей Симакова и Прянишникова появилась новая забава. При виде меня они припадали друг к другу и плелись за мной, закатывая глаза и противно подвывая: «Не па-асынок ли здешних окое-емов ослеп от прободения вещей?» (из Иоффе). Нужно было видеть эту парочку. Если они долго не унимались, я начинал злиться по-настоящему. Кому-то приходилось вмешиваться, обычно Геше Огрызкову, который и тогда был великим миротворцем, потом стал знаменитым, обожаемым паствой священником, а сейчас его уже нет на земле. Нет на земле и Лены Васильевой.

Свели меня с Лёней и Женей стихи, но это новое общение было бы интересно и притягательно даже помимо стихов. Они были старше, знали больше и думали смелее. В них не было ученического прилежания, не было ни капли робости. Они говорили и писали как «власть имеющие».

Меня еще очень привлекала небогемность их жизненного уклада, принципиальная невозвышенность разговоров, энтузиазм из-за победы любимой команды или по поводу бараньей ноги. («Разве можно сказать хоть что-то серьезное под такую закуску?» – удивлялся Иван, мой институтский друг.) Ногу оплачивали сообща и подавали на «субботах» у Володи Шахновского. На «четвергах» жарили покупные котлеты за 7 коп. шт. – и ничего, выжили. Но «четверги» – это уже предприятие Зиника, хронологически более позднее, и о нем нужно рассказывать отдельно. Собственно, обо всем следовало бы рассказать отдельно, но так трудно рассекать цепочки естественных связей… разбивать живую память на какие-то отсеки…

Очень скоро я кооптировал на «субботы» Сему Файбисовича, а предшествовал этому такой вот странный разговор:

– Ну, я спросил у Лёни, можно ли к Шахновскому привести товарища.

– Ну?

– Ну, он говорит: приводи, если не стукач.

– Ну?

– А ты не стукач?

Немая сцена. Вопрос был задан в шутку, но обмен взглядами зафиксировал невольную пытливость (не мелькнет ли паника в глазах собеседника?), и Сема долго не мог забыть мне этого вопроса. Наверное, и сейчас помнит.

Подтолкнула меня вовсе не личная мания, а лишь уступчивость общим психозам. Считалось, что свой стукач есть в каждой большой и хоть немного заметной компании, а вероятные кандидатуры обсуждались в узком кругу с большим энтузиазмом. Вот, например, моя ранняя характеристика, преподнесенная мне через пару лет с извиняющимся смешком: «Не знаю, кто такой. Лёнька с Евгением привели. Сидит, молчит. Наверно, стукач». «Рабим стукачим» (много стукачей), – говорил Мишута Гольдблат, правда несколько позже, когда до нас стали долетать первые слова древнего языка.

Прочел недавно в статье А. Даниэля: «Можно с уверенностью утверждать, что для Москвы, по крайней мере, этот процесс прошел за три примерно года – с 1966 по 1968-й. К концу 1968 года он был завершен. Все со всеми знакомы, все друг с другом общаются или во всяком случае друг о друге слышали».[1] «Этот процесс» у Даниэля – «связанность всех со всеми через одно или два, редко три звена». Тут какое-то замечательное хронологическое совпадение: самое интенсивное опознание и узнавание *своих* произошло у меня именно в этот период. Но

Даниэль говорит о диссидентском круге, и в этом есть неожиданная точность. Неожиданная потому, что только после его статьи я понял: эта «связанность всех со всеми» осуществлялась именно через организованное диссидентами «единое информационное поле». Просто все остальные – областные, так сказать – связи существовали как ответвления.

Например: мы дружили с Зиником, Зиник – с Улитиным, Асарканом и Айхенвальдом, а те, в свою очередь, дружили или постоянно общались с Есениным-Вольпиным, Якиром, Григоренко и другими. Это и был центр. Сначала через него, потом в обход потянулись связи между разными ответвлениями, подобными нашему. Эти контакты часто (и со временем все чаще) не имели прямого отношения ни к правозащитной деятельности, ни к диссидентству вообще, но сама *система* связей без диссидентов, без центра была бы, видимо, невозможна.

Как превратить в связный текст сплошное многолетнее воспоминание, большую часть которого занимают какие-то сполохи и полуслепые мгновенные отпечатки? Это похоже на огромный спящий дом, и только пять-шесть окон освещены на разных этажах. Наша память не зеркало, скорее, водное зеркало, и верно отражает только при полном штиле. А близкого человека я вообще не умею видеть извне, в совокупности узнаваемых деталей. Все равно что вспомнить и описать погоду – в определенный день, тридцать лет назад.

…Вот Лёня в квартире на Смоленской, лежит на старом, хочется сказать «коленкоровом», диване, в безразмерной отцовской пижаме, давно потерявшей цвет. Встает и открывает фрамугу, чтобы выпустить папиросный дым. Губы чуть вывернуты и как будто огранены, от ноздрей к углам рта идут глубокие складки, кадык, как всегда, недовыбрит. Мне кажется, что он похож на Кафку, хотя на самом деле не похож: тип лица другой. «Моя беда в том, – говорит он, – что для общения нужно разговаривать». Это мне понятно. Даже странно, что он, а не я произнес эту фразу.

…Паланга. Лёня выходит из автобуса с видом человека, пережившего смертельную опасность: «Если бы я не знал наверняка, что меня встречают, – повернул бы обратно». Вот у кого охота к перемене мест отсутствовала совершенно. Но уехал он одним из первых, в ноябре семьдесят второго года. В ночь отъезда мы сидели в его квартире, уже совершенно пустой, на полу валялись газеты и куски бечевки. Даже свет горел только в одной комнате. Там мы и сидели, покидав на пол пальто, ждали такси. За окном ночь, осень, слякоть. Подъехали сразу семь или восемь машин.

– Если тебя все-таки посадят, то именно за такое вот непонятное для них и крайне подозрительное разукрашивание, – заметил приятель, наблюдая, как я наряжаю международный конверт, – аккуратно и любовно выписываю адреса разными фломастерами: получателя – печатным шрифтом в несколько цветов и с «тенями», отправителя – нарочито небрежно, но с завитушками. (Уже не могу припомнить, зачем я так старался.) Выражение лица у приятеля было немного брезгливое. Сажать меня кроме как за это было, собственно, не за что. Но в начале семидесятых даже для такого «поступка» нужно было преодолеть какой-то небольшой, но очень неприятный, тянущий страх – слабый отголосок того большого советского страха, который люди самого разного умственного склада одинаково определяют как «онтологический». «Как это ты – прямо в ящик!» – поразился Иван, когда я мимоходом бросил свое разукрашенное письмо в почтовый ящик у Курского вокзала. Прозвучало это как «сам лезешь в ящик».

Лёне я решился написать только через год после его отъезда. А когда потребовалось отправить с советского почтамта хитро зашифрованную телеграмму в Израиль, прямо, но неявно подтверждающую мою готовность печататься за границей, я взял с собой Зиника для моральной поддержки (1973-й или самое начало 74-го). Лёня ответил с военной прямотой: «Считаю твой ответ крепким морским „добро“».

Навыки конспирации после пересечения границы быстро испарялись. Вот телефонный разговор с уже заграничным Зиником. Трубка звенит гулким космическим эхом, как будто разговариваешь с Марсом. И Марс тебе сообщает:

– Миш, я тут отдал твои стихи в один *континентальный* (голосовой нажим) орган. Как ты на это смотришь?

– Я не знаю (голос обмирающий, еле слышный).

– Ну, что ты не знаешь (заметное раздражение в голосе) – в *континентальный* орган. Не понял?

– *Я не знаю*.

– А-а, понял: ты «не знаешь». Теперь понял, понял.

Мы переписываемся с Лёней уже двадцать шесть лет. Письма первых десяти приблизительно лет при перечитывании производят очень странное впечатление. Какая-то переписка двух обитателей лагерей для перемещенных лиц или двух испытателей безвоздушного пространства. В точности как в одном его, сравнительно позднем, стихотворении:

И через каждый новый день
я переваливаю, как через высокую,
как через насыпь земляную крутобокую
танк переваливает…

Все нужно было начинать с нуля. Заново заселять и обживать какую-то пустыню. «Я вижу, что жизнь ушла из всех постоянных форм, из всего, что имеет устойчивость и продолжение. И надо жить на пустом месте. Значит, надо жить на пустом месте». «Островное существование даже внутри того круга, который и сам по себе является островом». «Ни на что не соглашаться, оставаться при своем. При чем „своем“? При чем-то неявном и недоказуемом. При тоске и вечной растравленности». «А стихи? В сумерках их и не заметишь. Но даже правильно, что они так зависимы, что уже почти нематериальны. Галлюцинации своего рода». «Я понял, что это ошибка – считать свое дело ничтожным и частным. И пусть даже ничтожное и частное, тем хуже, то есть значительнее. Не все ли вопли на земле об этом – о безысходности, о бессилии?»

Такого рода отрывками можно заполнить подряд сотню страниц. Получится повесть, состоящая из одних знаков препинания.

Иногда кажется, что люди уезжали не от тяжелой, а от беспросветно-легкой жизни. Но упор все-таки надо делать на первом слове, а второе толковать иносказательно. Однажды я попробовал объяснить своей дочери, чем, собственно, всю жизнь занимался. В основном тем, сказал я, что изо всех сил упирался в какую-то невидимую заваливающуюся на меня стену. Это занятие казалось не только необходимым, но единственно возможным. А заваливающаяся стена как-то соотносилась с советской властью. Странное на внешний взгляд существование, когда все силы уходят не на работу и не на «жизнь», а на пассивное сопротивление. Чему? Какому-то невероятному давлению, по природе, конечно, социальному, но по действию скорее атмосферному.

Это сопротивление и есть наш единственный профессиональный навык. Его смысл едва ли доступен нам, участникам. Может быть, никакого смысла в нем не было (почти невероятно), а может быть, это сопротивление все и решило (тоже вряд ли).

Однажды я решился прочитать двоим ближайшим друзьям

(Ване и Вите) несколько, как мне казалось, наиболее удачных и самых смешных отрывков из моих писем. После первых же фраз воздух, входящий в мои легкие, начал каменеть. До сих пор поеживаюсь, вспоминая это ощущение страшной неловкости, непоправимой ошибки. Ни разу не засмеялись, отводили глаза. Невольный, просто технически необходимый для самого акта письма взгляд извне на наши внутренние дела был, конечно, оскорбителен и, по сути, невозможен. Они решили, что я их в землю закопал и на память написал.

Но мои корреспонденты хотели хоть что-то знать о нашей жизни, хоть как-то в ней участвовать. Они требовали подробностей. Литература входила в жизнь как двурушничество и вынужденное предательство. (То есть – вместе с ними, в одной упряжке.) И поскольку она в ней (жизни) задержалась и сильно распространилась, то представлю-ка я здесь один образчик такой переписки. Это ничего уже не изменит.

Письмо начинается с описания внешности нового знакомого. Это Андрей Твердохлебов, заходивший в гости перед самым своим отъездом. Остальные имена я не раскрываю, они зашифрованы и в самом письме, – чтобы не давать лишней информации промежуточным читателям. Тут очень пригодилась литературная школа Павла Улитина, для которого непрозрачность текста и табуированность реалий принципиальны и являются свойством поэтики. «Все писать с сокращениями. Кроссворд. Проза-ребус. Шифровка».[2] Шифрованность в его вещах, вероятно, возникла когда-то как способ самоцензуры, но с ее помощью легче было улаживать и те сложности, которые возникают, когда персонажи и читатели – одни и те же лица.

> В лице что-то монголоидное: чуть приплюснутый нос, чуть вывернутые ноздри. Хохолок на голове, сутулость. Пока не приглядишься, вид инженера-неудачника. Потом понимаешь, что это не сутулость, а напряженность и волчья собранность, готовность резко обернуться. Речь затрудненная, с расстановкой. Каждое слово так артикулируется, что получается и значительным, и ироничным по отношению к этой значительности.
>
> Я рухнул в постель с мыслью «как жалко! ничего не запомнил», а утром оказалось, что помню разговор почти дословно, только мешает, похоже, затрудненность его речи, постоянное нащупывание слов и тревожная неясность формулировок. Но потом понял, что это и дало возможность все запомнить.

Так бывает. Какой-нибудь вечер – неудачный, со скандалом, а то и с мордобоем – а ведь он-то и вспоминается потом через много лет, когда все мирные милые вечера уже забылись, и им потерян счет. И что интересно: такие вещи как-то связывают людей. Связывают какой-то веревочкой. Они заклятием ложатся на группу не очень подходящих друг к другу людей, объединяя их в компанию. Действительно, заклятые друзья.

В первый день года Белой Обезьяны (которая, кажется, приходит за своим черепом) меня потянуло назад, как преступника на место преступления. Обратно – в шум, в тесноту, к закусочному столику и в комнату, где танцуют. И я поехал. Там уже был полный развал. Народу втрое меньше, все переместились на кухню, опухшие, невыспавшиеся, очумелые. За столом царил Общий Друг. Он задирал поэта, и не просто, а на самом серьезном уровне – вызывал не на ссору, а на драку. Говорил, какое у того некрасивое бабье лицо. Давняя обида, смешанная с литром водки, подталкивала на самые болезненные удары. Поэт старался не обращать внимания. И когда наконец Общий Друг прямо из бутылки плеснул ему водку в глаза, он только заорал и побежал в ванную.

Всех разнесло по комнатам, но и там старались не глядеть друг на друга. Герой вечера входил и выходил, наступал на ноги, смотрел на меня пристально: я на него накричал, отбирая бутылку (она была последней, не оттого ли я так разгорячился?). Поэта изолировали, а лишенный антагониста герой вскоре уснул. А когда проснулся, все опять сидели на кухне, и он опять принялся за дело. Вытащил из большой банки огурец и, изображая бьющуюся в руках рыбку, ловил ее, когда она снова и снова прыгала на дорогую импортную рубашку поэта. Вот рыбка попыталась юркнуть за воротник новой рубашки, и поэт, не выдержав, шваркнул пантомимиста об стену. На чем и успокоились.

Плохо, что у О. Д. уже выработался – по отношению к поэту – устойчивый стереотип пьяного поведения. Сам он объясняет это тем, что некий бес, вышедший из поэта, переселился в него и накинулся первым делом на свое прежнее вместилище. По фактам все совпадает, но поэт, однако, никого не поливал. Разве что устно. (Замечательно в Нинкином письме: «мы пили пиво и

дружно поливали этот остров»; «поливали» зачеркнуто, написано «ругали».) На последнем дне рождения О. Д. очень спокойно и без видимой причины вылил на брюки поэта стакан горячего чая. Между ними был стол, и тот не мог сразу кинуться. Среди общего оцепенения он долго, пыхтя, вылезал с дивана, потом огибал стол, потом они наконец сцепились. Завалили встрявшую между ними жену Витязя. Вспоминается все кусками, вспышками, но иные просто замечательны.

Кончилось время, когда жизнь шла машинально. Все обратилось в хаос, и это хорошо. «Это хорошо, – сонно внушал я обиженной жене Витязя. – Все рассыпается, и это хорошо». – «Чего ж хорошего, – ведь все рассыпается?» – «Это хорошо, потому что с этим надо что-то делать. Материал наконец обнаружил себя, и впереди семь дней творения. Все рассыпается, чтобы снова собраться. Никуда они друг от друга не денутся».

Как ни странно, так все в конце концов и произошло (впрочем, еще не конец концов). Наверное, и этот текст большой беды не наделает. Поэтов в компании хватает, все не дураки выпить, и кого там обливали водкой и дразнили огурцом, никто не догадается. А мы не подскажем.

Кстати, насчет количества поэтов. Этот счет возможен только по системе «один – два – много», и «много» стало уже потом, а первые несколько лет после Лёниного отъезда мы с Женей Сабуровым в общем поделили на двоих. Витя Коваль тогда писал пьесы в стихах и тексты к песням, то есть проходил как бы по смежному ведомству. Еще он дудел в самодельные, одна длинней другой, флейты и вообще был не чужд восточной мудрости. Позвонишь ему, на что-то пожалуешься, а он в ответ немного укоризненно произнесет притчу или изречение.

– Вот ведь, Витя, какая жизнь: побывал в чужой компании, и помню-то себя всего часа два-три, а вспоминаю уже третий день. Событие!

– Восточная мудрость это осуждает. Это то, от чего предписано избавляться в первую очередь, – от внутреннего монолога. Когда ты снова и снова проигрываешь и переигрываешь ситуации, комбинируешь и подставляешь новые слова. Это пробуксовывание на месте.

– Да, но если я избавлюсь от внутреннего монолога, то что у меня останется?

Стихи, конечно, обсуждались и с Витей, но с Женей

Сабуровым это делалось как-то пристальнее, основательнее. Солиднее. Женя всегда культивировал основательность и солидность и даже первый свой самиздатский сборник подписал не именем, а инициалами: Е. Ф. Сабуров.

Е. Ф. Сабуров как критик – это тема особая. Пришли раз ко мне в гости два молодых (то есть более молодых) поэта и как-то слишком настойчиво стали интересоваться моими «ранними» стихами. Поздние ладно, а вот уйти без ранних моих стихов они никак не соглашались. Это было необъяснимо и немного тревожно. Позднее все объяснилось. Оказывается, однажды они в гостях пересеклись с Е. Ф. Тот, правда, уже уходил, зашнуровывал ботинки. Пока он их зашнуровывал, поэты успели прочесть ему некоторые свои произведения. (Отчетливо представляю эту сцену.) Евгений поднялся, отдуваясь, и пообещал, что если они будут сильно стараться, то достигнут когда-нибудь уровня раннего Айзенберга. (Эти двое у меня больше почему-то не появлялись, и про их уровень я ничего не знаю. Фамилию одного я видел потом в списке так называемой «возрожденческой плеяды», напористо входившей в оборот на исходе восьмидесятых. Но вот уже исход девяностых, и где та плеяда? Где обещанное ей возрождение? Помню теперь только фамилию моего визитера да еще женщины, которая подводила под них общую теоретическую базу. Фамилия говорящая: Баранова-Гонченко.)

Мне иногда снятся стихи. Однажды стала проговариваться в полусне целая строфа, я поймал ее и записал: «А что этот друг или родственник мой, / умученный язвой, но в общем прямой? / – томится, умученный язвой, / в пучине своей неотвязной». Приписав еще две строфы, я закончил (очень быстро) эти диковатые стихи, и показал их Жене. Он подумал, попыхал трубкой: «Сначала было „в пучине своей безобразной“». Я клятвенно заверил, что как приснилось, так и записал. «Ну нет, – он даже поморщился от такого явного вранья, – фонетически тут точно „безобразный“, а ухо-то у тебя есть».

В какой-то момент он раз и навсегда решил, что мы люди разные, и детальный разбор стихов прекратился. Его замечания касались теперь общих проблем риторики. «Не кажется ли тебе, что длинная строчка сейчас вроде женских перчаток по локоть – как-то смешно и претенциозно?» Или: «Мы ушли от эпики, а зря».

Мне, правда, кажется, что он сам от эпики далеко не уходил. Я понимаю, что сейчас почти невозможно корректное различение лирики и эпики, но иногда кажется, что Сабуров использует привычные лирические формы, не будучи лириком по

темпераменту. Точнее – не будучи *только* лириком. Для меня с какого-то времени самым интригующим в его вещах стало стиховое существование совершенно реальных обстоятельств, людей, вещей. Особенно недоумеваешь, когда сам оказываешься свидетелем таких обстоятельств. Довольно настырный старикан на набережной Судака не делал различия между двумя авторами и к обоим обращался одинаково горячо, но про «привязчивого прохожего инвалида» написал потом только один.

Постараюсь объяснить, что за «стиховое существование», потому что это термин условный, из личного употребления. Имеется в виду не описание события и не словесное макетирование (когда в стихотворение помещается какая-то диорама и все действия происходят внутри нее, сообразуясь с ее масштабом и степенью условности), а его явление в виде маленькой смысловой магнитной бури. Условно говоря, существование не в виде шара, а в виде шаровой молнии. Событие при этом остается живым, но дополненным, приращенным по смыслу. Хотя, возможно, это и не приращение, а лишь проявление того, что обычно остается незамеченным.

Сабуров умеет превращать в стихи очень неожиданные вещи: даже досадливое наблюдение, даже экономический или геополитический прогноз. Трудно представить, что *не* смогло бы попасть в поле его зрения. Но все, уже попавшее, меняется и приобретает новые свойства, как под воздействием очень активной среды. (Собственно, не «как», а именно под таким воздействием.) Все хаотические события оказываются внутри упорядоченной системы, определяемой порядком слов, фигурами речи. Разнохарактерные сообщения приходят к нам на единой стиховой волне, настолько переиначенные ее ритмической волей, что мы не сразу обнаруживаем их начальную природу. Суть сообщения доходит через волновой интервал. Это стихи двойного и догоняющего действия.

Есть вещи, русской поэзии не то что не присущие, но всегда занимавшие ее не в первую очередь. Одна из них – трезвость. Я имею в виду такой взгляд на мир, который не отстраняет реальность и не приближает ее – с пылом и жаром. (Трезвости вообще не присуща аффектация.) Автор и реальность находятся здесь на таком расстоянии, что способны разглядеть друг друга без особых искажений.

Спокойный взгляд и трезвую интонацию не так просто соединить с нашей просодией, и их существование в чьих-то стихах можно считать художественной новацией. (Стихи Сабурова живут как раз такими вспышками новизны, новации там сразу становятся особой стилевой повадкой, речевым тембром, личной

интонацией.) Но интересно, что такое трезвое отстояние для Сабурова лишь исходная позиция. Можно воспринимать эти стихи как особый род дневниковых записей, но это дневник одновременно и внешнего наблюдения, и внутреннего состояния. Точное, на ровном дыхании изложение бытовой ситуации во многих вещах постепенно смещается в обморочную зыбь. Материя реальности редеет, проступает что-то другое, другая реальность: древний страх, античный ужас, «невыразимая печаль». Помимо прямых связей появляется множество побочных, идущих из сна и подсознания. И Сабуров необычайно чувствителен к таким «проступаниям».

К особенностям его оптики тоже надо присмотреться. Тогда замечаешь, что его пристальность выборочна, а выбор продиктован особым отношением к реальности. «Обычный читатель примет, пожалуй, все за чистую монету, но моя настоящая цель – гротеск» (Флобер). Действительно, при будничном тоне многих стихотворений все можно принять за чистую монету. Пародийные оттенки Сабуров вводит в стихи исподволь, без нажима. Но можно заметить неладное, наблюдая, как чередуются пространства, лишенные всякой «поэтичности», с другими, где поэтизмы наезжают друг на друга, прессуясь, как при крушении. С нагнетанием поэтической роскоши усиливается ее немного зловещий, фарсовый характер. Сабуров хорошо чувствует и хорошо передает такие вещи: путаность самого вещества жизни, паутину вздора, осевшую на реальности.

И крушение действительно происходит. Но крушение чего? Я думаю, крушение наших представлений об авторе. (Поскольку прочтение стихов включает – вольно или невольно – такие (предположительные) представления. Мы вчитываем в текст[3]образ автора, его гипотетическая биография становится частью поэтики.)

В текущем рассуждении о стихах Сабурова я соединил три написанных в разное время отрывка, и получилось описание трех совершенно разных поэтов: наблюдателя-реалиста, визионера, мастера гротеска. Один как будто исключает второго, второй – третьего. Остается понять, как эти трое (и еще несколько неупомянутых) уживаются в одном человеке, и более того – в одной поэтике. А в Жениных стихах есть еще многое. Есть любовь без романтизма, пылкость без надрыва, разочарование без демонизма. Есть созерцательность и усталое понимание, горькое принятие всего как необходимой жизненной ноши, от которой не уйти.

Может быть, эта множественность происходит от его, всегда поражавшей меня, способности существовать *непрерывно*: без

пауз, без периодов оцепенения, когда ты чувствуешь себя так, словно вышел из-под проливного дождя в мокрой одежде, с одеревеневшими негнущимися пальцами. Но это я уже о себе, а о себе надо бы поменьше. Надо бы – о нас.

О ком о «нас»? В отношении стихов никакого «мы» как будто не должно существовать, но в нашем случае трудно разделить стихи и что? – жизнь, судьбу, не знаю, как это назвать, чтоб не поморщиться. Литературная общность, которую я впервые почувствовал, когда познакомился с Лёней и Женей, оказалась не только литературной, и это начальное сращение выдержало много испытаний на прочность. Все заметки, касающиеся этих трех авторов, привычно складываются в один ящик. Отсюда и название очерка (?), а еще из фразы Леонида Липавского: «У нас, мне кажется, были данные, чтобы превратить наш ящик в лодку» («Разговоры»).

Так в какую лодку мы превратили наш ящик (если превратили)? Едва ли мы превратили его в какую-то «школу». Школа это стремление писать стихи хорошо, все лучше и лучше. При том, что значение всех трех составляющих этой формулы (писать – стихи – хорошо) известно и не вызывает сомнений. Но есть авторы, для которых значение этих слов неизвестно, а его выяснение и составляет суть (смысл) писания: что такое *писать*? что такое *хорошо*? что такое *стихи*? Хочется думать, что мы из таких. Я совершенно равнодушен к стихам, выступающим во всеоружии знания о своих несомненных достоинствах и еще более несомненной принадлежности к поэзии. Чтение таких вещей сопровождает ощущение необязательности и этого занятия, и самих стихов. Только не нужно понимать так, что достоинства стихов всегда сомнительны. Но *априорное* знание стихов о своем качестве и принадлежности делает их, на мой взгляд, искусством какого-то иного рода, – ближе к ювелирному.

Значит, все-таки не школа. Но какая-то общность есть безусловно: общая для трех авторов пластическая сверхзадача, вовсе без «принудительной установки на оригинальность», скорее – на новые возможности «вечных» средств. На преодоление их инерции. Мы начинали с попыток переозначить традицию, как бы перевести ее на себя: понять, какой она могла бы стать на сегодняшний день. Поэтический язык не имел прямого отношения к окружающему, наличному, это был язык *воссоздаваемой* жизни. Жизненная и языковая норма собиралась по намекам и деталям, как вымерший ящер по найденной косточке, воссоздавалась по собственному ощущению и из подручных средств. Не стоит удивляться почти экзотическому характеру этого языка и искривлению речи, порожденному очень

сильным сопротивлением материала.

Сейчас можно подумать, что мы всю жизнь писали да писали себе стихи, как заведенные. Писали, конечно, но всегда старались расширить стиховую область и включить в нее что-то другое. Схватить случайное движение жизни, ее невольную гримасу и обнаружить это, переведя в литературный прием.

Есть неопознанная реальность между твердым, видимым. Та, что соединяет видимые части (частности) незримой силовой паутиной. Вот эта самая паутина. Вещество жизни в пазах и разрывах, не замечаемое среди плотных форм (как греки не видели цвет неба).

Но даже среди твердого и видимого есть *самое простое*, и оно всегда не названо.

В семидесятых годах тот же поэтический язык, не понуждаемый никакими декретами и как будто по собственной воле, стал прорастать в обыденность. Началось движение от условности (вернее, сквозь условность) к реальности высказывания, начались различные испытания, имеющие целью определить реальное состояние языка. Главной задачей становится не окрашенная (то есть окрашенная в естественные цвета) внутренняя речь, движущаяся с естественной скоростью. Стилевая лояльность.

Происходил постепенный – шаг за шагом – захват обыденности тем языком, который создавался-то как раз в применении к необычным ситуациям и исключительным состояниям. И соединение одного с другим давало результат по меньшей мере нетривиальный. (Предположим, что, говоря так заносчиво, я имею в виду не себя, а своих товарищей.)

Этот текст не может иметь логического конца. Ставить точку в описании не хочется. Определенную художественную эпоху можно считать завершенной, когда ее центральные идеи превращаются в самоповтор и неосознанную самопародию. Со стороны виднее, но со своего места я не вижу ничего похожего.

Лёнины письма

Всего этих писем 139, не считая нескольких недошедших. Как правило, не доходили самые первые письма – с обеих сторон. Это было в порядке вещей: власти, видимо, испытывали переписку на прочность. Наша оказалась достаточно прочной. Она продолжалась тридцать лет.

В семидесятых годах мы обменивались письмами примерно раз в месяц. В восьмидесятые разрывы увеличились, доходя иногда до полугода. Первые письма написаны от руки, потом оба перешли на машинку, и это было вынужденным решением. Письма шли по месяцу, ответ писался не сразу, и через три месяца собственное письмо помнилось уже в общих чертах. Неизбежная иносказательность и шифрованность изложения ясности не прибавляли, некоторые вопросы корреспондента ставили в тупик. Вот мы и начали писать на машинке, оставляя себе копию.

Аккуратист Лёня завел специальную папочку. Там его копии и мои оригиналы чередовались и были плотно скреплены. Я увидел эту папочку в 1990 году, когда впервые приехал в Израиль. Лёня с ней не расставался, даже возил с собой в Лондон на годовую побывку. Потом с ужасом рассказывал мне, как папочку забыли на улице при очередном переезде, и она сорок минут лежала без присмотра. Никто не взял, никому она не понадобилась.

Это вообще интересно: нужны ли эти листочки кому-либо, кроме нас? (А теперь и «мы» уже в единственном числе.) Основное место в них занимают стихи, которые мы посылали друг другу, их разбор и обсуждение. Свои стихи я помещал в конце письма, печатал без строчной разбивки и никак не выделял, – в надежде, что «третий читатель» примет их за изыски эпистолярного стиля. Так, возможно, и происходило. А может, цензор просто не дочитывал до конца или его это не очень волновало.

Отсылались последние по времени вещи, точнее, предпоследние – чтобы было какое-то временное отстояние. Они так и называются в наших письмах – «предпоследние». Иногда письма превращались в подобие критической перепалки. «И это все? – удивленно спросил Витя Фульмахт, прочитав однажды и письмо, и ответ. – А где же дружеская часть?»

Но Лёнина критика далеко не всегда была отрицательной, поэтому публиковать какую-то часть его писем нескромно. Да и неловко, – трудоемко: разговор идет на цитатах, и потребовалась

бы куча пояснений. Всегда имея в виду частный предмет и конкретный повод, Лёнины замечания редко выходили на уровень теории. Он вообще не был, мне кажется, мастером широких обобщений – как человек, ощущающий поэзию необходимым и достаточным своим состоянием. Есть там, впрочем, драгоценные терминологические находки, вроде «перевозбужденной лексики» или «летучей точности»: «Последние два „предпоследних“ мне нравятся и даже видятся чем-то новым. Пожалуй, две последние строчки последнего из них немного мне не по вкусу, да и „домовитая теснота“ чем-то уступает изумительным по летучей точности словосочетаниям „памятливая жажда“ и „понукающее эхо“, несоединимым соединениям о прилагательных понятий прошлого с понятиями будущего и наоборот» (5. 10. 1980).

Приведу еще два фрагмента, иллюстрирующие его удивительную способность к предельно детальному – до слога, до звука – разбору стихотворения. «Если вслушаться, то действительно возникает желание врубить в середину третьей или четвертой строчки „эр“» (30. 05. 84). «Вторая строфа скучнее, чем она того заслуживает по точности и детальности вида. Ее третья и четвертая строчки дают ничем не поступившуюся, развернутую без малейшего компромисса картину: не опущена никакая часть дорогой метафоры, всё объяснено исчерпывающе. Но оскучняет трехсложный „лишайник“, въевшийся в скучные „поры известняка“, опять длинного на слово. Не более чем нейтрально и слово „выстрижен“, верное по размышлении и не бесспорное при первом чтении» (23. 03. 92).

Вероятно, это и есть самая оригинальная, поучительная сторона нашей переписки. Пристальное и пристрастное чтение одного поэта другим в течение тридцати лет, я думаю, вообще большая редкость. Не припомню другого примера, чтобы два автора так долго и детально фиксировали в письмах свои читательские впечатления.

Но и в текстах другого рода, даже в бытовых описаниях, – масса раскавыченных цитат, в большинстве своем стиховых. Выхватывать их на крючках комментария не поднимается рука. Пускай живут. А если что-то покажется темным – что ж поделать. Не проясняет текста и Лёнино свойство не только в стихах, но и в устной речи (проявленной в письме) пользоваться особенными, выразительными – прежде всего в звуковом отношении – словами: «кантуется», «застолбился динамически» и пр.

Впрочем, кое-что можно и объяснить. Раскавыченное и наделенное падежными окончаниями «время и мы» – это название журнала, неоднократно печатавшего наши стихи. «Старший друг» – Павел Гольдштейн, главный редактор иерусалимского журнала

«Менора», что по-русски означает «семисвечник» (так журнал и величается в письмах для, так сказать, конспирации). «Косые падежи», «Путь зари», «Третий город» – названия Лёниных сборников. Асс – Александр Асаркан. Ев. (или «ев. гений») – Евгений Сабуров. «Двоюродный брат» – Леонид Глезеров (двоюродный брат не Лёни, а Зиника). Фу (он же Цицерон) – Виктор Фульмахт. Лондон – место обитания нашего товарища Зиновия Зиника, метонимическое обозначение всех обстоятельств, с ним связанных. Так что, если бы в письме встретилась фраза «В Лондоне все туманно», это не имело бы никакого отношения к погоде.

Есть много теорий, как различать поколения; кто, например, относится к «семидесятникам». Где-то встретился такой возрастной рубеж: 1943–1953 годы рождения, с чем я совершенно согласен. Тогда получается, что я ровно посередине, а Лёня с краю, на границе с другим поколением. Возможно, из-за этого пограничного положения он и с годами не стал вполне ровесником, оставался хоть немного, но старшим. И детство его было другим, послевоенным. Лёня смешно рассказывал, как восхищался в детстве риторикой политических новостей – самим их звучанием, отделенным от смысла. В 1953 году, на даче, он громко скандировал в жестяное ведро, имитируя гулкость искаженного радиоголоса: «МВД и КГБ слить в МВД. Назначить – Берия» (что-то в этом роде). Тетя, услышав знакомый текст, перепугалась: «Лёня, Берия арестован!» – «Как? Лаврентий Павлович?»

Есть об этом и в одном из писем: «Влечение к ладу и складу слов я почувствовал в довольно раннем детстве, но проявилось оно, кроме декламации сказок Пушкина, и через отрывки из „Истории развития артиллерии“ и приказов и речей Верховного Главнокомандующего» (17. 12. 90).

Рассказывая такие истории, он начинал говорить немного в нос. Это был специальный прононс – актерский, на публику. Проявлялся он и при чтении стихов. Это чтение незабываемо. Уже через месяц-другой после знакомства я был наполнен его голосом, его стихами. Они вошли в мою жизнь и стали ее составной частью. (Возможно, поэтому мне так трудно о них писать.)

Все тогда происходило очень быстро. То есть время двигалось очень медленно, и в его короткие отрезки помещалось много разных событий. Мы познакомились с Лёней где-то в начале шестьдесят восьмого года, а к осени семидесятого были уже

давно, прочно дружны и в сентябре поехали вместе в Палангу – втроем, с Аленой, моей будущей женой.

Литва тогда казалась Европой. В кафе Лёня учил нас *правильно* делать заказ: уверенно и солидно, чтоб официанты понимали, с кем имеют дело. Официанты, действительно, сразу это понимали и обслуживали нас хуже некуда. В самые приличные заведения вообще старались не пустить. Это поразительно, это какая-то судьба: ведь сезон уже кончился, и городок почти опустел. Кафе закрывались одно за другим, и мы скоро перебрались в закусочные-аквариумы, куда люди заходят на четверть часа. Там тоже давали кофе и Лёнины любимые «коричневые» пирожные. Боже, как торжественно он их ел! Мне нравилось, что он не любит сладкого, а только вот такие пирожные. Нравилось, как он произносит само это слово – «коричневые» – слегка выворачивая губы.

Одна из «стекляшек» стояла прямо на берегу, оттуда можно было видеть кусочек моря, дерево и кованую статую, довольно разлапистую. На бортике бассейна сидели одни и те же заезжие тетушки в нижнем белье и упорно загорали. Отводя глаза от этого дикого зрелища, мы с удовольствием посматривали на даму, что почти всегда сидела в углу кафе с кучей рукописей и рюмкой коньяка.

Мы снимали соседние комнаты в очень холодной мансарде и по вечерам стучались друг к другу, приглашали на чай, обращаясь почему-то по имени-отчеству: «Не изволите ли, Леонид Моисеевич, выпить с нами чашечку чая?» Кого-то мы изображали. Каких-то, вероятно, дачников в Териоках.

Самые важные слова мы слышим от своих сверстников или тех, кто немного постарше. На этих чаепитиях я услышал от Лёни слова, которые хорошо запомнил, и за их подлинность могу поручиться.

– Сюда надо приезжать с женщиной, в которую хотел бы влюбиться, – сказал Лёня и тревожно посмотрел на Алену, сообразив, что она может принять на свой счет и обидеться. – Идеальное место для поэтов и полковников: каждый кустик вопиет о прекрасном. Хорошо бы, конечно, так и жить, как мы здесь живем, – ходить в кафе, на пляж. Жить как в каком-нибудь кантоне. Но дело в том, что, если ты отказываешься от Иерусалима, твоим городом становится не вселенная, а Москва. И ты никогда не сойдешь с уровня политики, то есть злости, потому что неопределенность положения мучительнее всего. Нет ничего более дурацкого, чем это ложное положение: тебя принимают за другого. Трагично отказаться от всего своего, но не иметь своего – просто тоскливо. Сироте не легче, когда ему говорят, что вообще-

то все люди одиноки… А ты хочешь прожить жизнь, говоря «спасибо» и «пожалуйста». Утром невозможно было вылезти из постели на холод, но он всегда справлялся с этим часа на два раньше нас, стоически читал на лавочке под нашим окном. Мы смотрели из окна на мужественного читателя, и чувство вины выгоняло нас на улицу. Шли на пляж или гуляли в парке, поглядывая на небо, ожидая дождя. Дождь не заставлял себя ждать. Небо темнело, все обесцвечивалось, только пруды надувались черной водой. Туман тянулся с моря, волосы сырели, а лица светились, как сквозь запотевшее стекло.

Умеренные штормы выбрасывали на берег водоросли, богатые янтарем, специальный человек собирал их сачком и складывал в кучи. На песке оставались зеленые подтеки.

На сером пляжном песке Лёня показывал нам, как тренируются конькобежцы: ловко крутился на одной ноге, отталкиваясь другой. Он ведь был спортсменом, входил когда-то в состав юношеской сборной Москвы. Было очень холодно. Алена пару раз залезала в воду, а мы сидели на берегу, уткнувшись каждый в свой «иврит». Я – для начинающих, он – для тех, кто уже приближался к свободному владению.

Лёня освоил этот язык поразительно быстро. Начал где-то в шестьдесят девятом, а через год уже свободно читал, бегло говорил. Какое-то чудо. Его отъезд был делом как бы изначально решенным и имел, по крайней мере, одну необщую черту. Кроме прочего это была мечта о пересечении языковой границы: он ехал в страну того языка, который сам по себе – вне зависимости от содержания высказывания – является *правдой*.

Эта мечта говорит что-то очень важное о человеке. В юности Лёня казался мне похожим на Кафку, хотя реального сходства черт не было и тогда. Из-за худощавости все мускульное строение его лица было более проявлено, более заметно. Выдавался кадык. Губы твердо очерчены, нижняя слегка вывернута. Выражение лица обычно сумрачное. Зрачки темно блестели, и в них постоянно копилось напряжение. Чувствовалось, что он не способен хоть что-то принять на веру и во всем должен убедиться сам.

Но сравнение не кажется мне случайным. Кафка говорил в свое время (Яноуху): «Я мечтал поехать в Палестину, чтобы работать на заводе или на земле». – «И вы бы все здесь бросили?» – «Все, чтобы найти жизнь полную смысла, в спокойствии и красоте».[4] Лёня не знал этих слов, но его предотъездные стихи почти повторяют Кафку:

Я совершать бы мог по чести и добру

ту виноградарей прозрачную работу
по сбору гроздьев, над которыми восходы
с росою сплачивают солнце поутру.

По локоть почвой окружалась бы рука,
и час, подверженный рачительному сдвигу,
тяжелым зноем отражался б от виска
для размещения в плодах осуществимых.

Там этих прелестей пристанище и храм,
предрасположенность там к перечню благому —
а что же и куда же деться нам,
из омута кидающимся в омут.

И запомним еще, что Кафка писал в дневнике о своем свойстве быть «человеком со слишком большой тенью».

1972-й был годом «дымной мглы». В Москве стояла небывалая, удушающая летняя жара. Горели торфяники, и синий полупрозрачный воздух не проходил в легкие. Молодых людей, подавших заявление на отъезд, начали забирать в армию. Мы ходили с Галей в поликлинику за какой-то справкой, которая могла бы Лёню от этой армии уберечь. Были получены строгие конспиративные инструкции. (Например, мы не должны были показывать, что знакомы.) Но Галя не считала нужным их соблюдать, открыто искала кабинет знакомого врача, открыто обращалась ко мне. Я нервничал, мне казалось, что она поступает необдуманно.

В армию Лёня все же попал, но ненадолго – на несколько месяцев офицерских сборов. Вернулся загорелый, бодрый. Когда мы встретились, на нем был новый галстук. Зиник предложил пойти в модное кафе «Ядран», но нас туда опять не пустили, не помог и галстук. Лёня потребовал жалобную книгу и для устрашения администрации сделал запись на иврите. Иврит тоже не помог, администрация не слишком перепугалась.

Его внешний вид едва ли мог кого-то ввести в заблуждение. Вечно он что-то донашивал, сборный ансамбль дополняла кепка и всегдашняя «беломорина» в зубах. И не то чтобы ему было наплевать на одежду, нет, – он почти страдал от своего вида, но ничего не мог сделать. Он просто не знал, как это делается.

– Чтобы выглядеть хорошо одетым, я надел курточку, которую дядя привез мне из Америки. Привез он ее десять лет назад. Но я все еще считаю ее очень модной – из Америки же!

(Это как раз понятно. В шестидесятых-семидесятых слова «модный» и «импортный» были синонимами. С годами вещь могла превратиться в лохмотья, но она не переставала быть импортной, – а значит, модной.) Но Лёня и потом жаловался на свой вид: «На всех снимках я выхожу как беженец» (8. 02. 76).

На проводах ели утку. Редкое было лакомство, но многие (не все) отодвинули тарелки, когда Лёню попросили почитать стихи. Я сидел рядом и на время чтения спрятался за его спину, но выгодное положение не спасало: напротив сидел Фульмахт, и его лицо лучше любого зеркала отражало произносимые слова. Пожалуй, это было водное зеркало. От каждого слова шла рябь, а когда Лёня объявил посвящение «Виктору Фульмахту», все там совершенно сморщилось. Я уткнулся в рукав, и на меня стали оглядываться. Лёня тоже обернулся – и сразу резко отвернулся.

Меня даже не удивляло его полное неучастие в тех прощальных церемониях, что кончались надрывом, растравой и проч. (Попрощался – и прочь.) Это было в порядке вещей. Вообразить Лёню не то что плачущим, но, скажем, откровенно растроганным было невозможно. И не потому, что он был какой-то скрытный или слишком сдержанный человек, – вовсе нет, напротив. Но *это* было не по его части. «Так плакать хочется, а слезы не идут».

А мы вели себя кое-как, дружно портили сценарий. На аэродроме Лёня постарался, чтобы все провожающие встали в ряд, и потом обошел весь ряд с короткими скупыми объятиями. Но когда процедура окончилась, открылась мгновенная пауза, секундная накладка в сценарии, и Фульмахт, конечно, влез по второму разу, за ним и я, и все вдруг опомнились: это же *в последний раз*.

– Это что – опять? – Лёня рванулся из наших лап и шагнул к проходу.

Наш первый телефонный разговор совсем не получился. Я вообще впервые разговаривал с заграницей. Было очень плохо слышно. Я кричал «алё» и слышал только слабое эхо собственного голоса. После третьего «алё» отдал трубку, поняв, что все равно не смогу произнести ни слова. Второй по счету разговор был более содержательным, и Лёня отозвался о нем с одобрением: «Хорошо на этот раз поговорили. Степенно». (То есть я не рыдал.)

В тоске тех «отъездных» лет было что-то невероятное: какое-то вселенское чувство потери, даже превышающее тяжесть реальных расставаний. Уезжали люди, в которых я заключил

часть себя. Я как будто расставался с собой, терял самого себя. И цеплялся за эту жизнь, уже готовую разбежаться во все стороны.

«Не покидает ощущение, что если раньше жизнь шла как репетиция, то теперь началась на удивление халтурная премьера. Какая-то дыра в панцире, и сквозь нее посторонний ветер освистывает все наши начинания» (это уже из моего письма семьдесят третьего года).

Лёнин отъезд поменял весь ход моей жизни. Она сразу лишилась той естественной, машинальной поступательности, о которой молодой человек даже не задумывается и просто исполняет некое возрастное восхождение (как бы подрастает в год на вершок). Это бездумное прирастание стало вдруг невозможным. Исчезла последовательность, и жизнь пошла в разные стороны – рывками, кусками. Теперь «просто жить» значило не осознавать себя, дать жизни непозволительную власть над собой. Позволить ей выедать себя изнутри. Нужно было что-то с ней, с этой жизнью, делать. Замедлить ее преждевременное убывание, хоть что-то удержать при себе. Это стало главной задачей. Странной, согласитесь, для человека двадцати четырех лет.

Действительно – «дыра в панцире». Можно сказать и так: то костное вещество или какая-то известь, что шла в позвоночник, теперь уходила на восполнение внешней защитной оболочки. *Продолжаться* можно было только собственным волевым усилием. И, может быть, единственная реальная работа тех лет – это попытка выйти за собственные, заданные органикой, пределы, границы. Уехать за границу или выйти за границу – так или иначе. Уже не сосчитать, сколько лет продолжалась эта нервная, назойливая апатия – как перед грозой. Собственно, решалась судьба.

Потом все собралось снова, но небрежно и наспех. И оказалось много лишних деталей. Светлые дни снова пооткрывались, но *свет* изменился. Не скажу, померк, но совершенно лишился способности слепить.

Сейчас это уже трудно понять. Когда расстояние опять стало географическим понятием, мгновенно исчезла и вся связанная с ним самодельная метафизика.

В начале нашей переписки – с обеих сторон – много писем без обращения, безо всякого «здравствуй». Это явное влияние Зиника, который начал писать нам письма еще до всех отъездов, а сам Зиник подражал в этом своему литературному наставнику Павлу Улитину.

В какой-то период Лёня вдруг начал обращаться ко мне на «Вы». Тогда это было необъяснимо, не прояснилось и впоследствии. Но взросление и «воспитание чувств» постепенно сказывались, изменялась письменная интонация – сближалась с устной. Мы постепенно учились разговаривать в письме.

Еще до установления налаженной почтовой связи Лёня передал через общего знакомого просьбу писать *простые* письма. Все последующие тридцать лет я пытался выполнить его просьбу, но, кажется, не преуспел. Лёнины письма более соответствуют заявке. Там гораздо чаще встречаются прямые сообщения, не плутающие по литературным околицам.

К восьмидесятым годам стиль наших корреспонденций в общем устоялся и не слишком менялся с переменой тематики: как у военного журналиста, отстукивающего свою тысячу слов то про гулянку на привале, то про страшный прорыв на левом фланге. А первый прорыв был еще в семьдесят девятом году, в мае. Я получил тогда открытку про обнаружившуюся страшную болезнь: несколько строчек сухой информации. Читая его слова через полмесяца после их написания, я начинал чувствовать тот же ноющий спазм в левой стороне груди, души. И был чуть ли не рад этой боли, как живой связи с моим другом.

Вот эта майская открытка семьдесят девятого года. Здесь надо бы обратить внимание на последовательность сообщений – и на общий тон.

> Позавчера получил твое письмо, отозвавшееся на мою открытку. Вслед за открыткой я послал тебе письмо, которое, однако, пришлось на забастовку почты, поэтому предполагаемые сроки его прибытия в Москву мне неясны. Комментарии про кунака-Сашу воспринял, даже догадался, кто это, хоть и не имел чести быть в прошлом с ним знакомым, а я ведь туг на догадки, даже когда очень прозрачно намекают, так что это, несомненно, – успех комментатора. У. Малапагин – нечто очень знакомое – из ППУ,[5] кажется, но: что-то с памятью моей стало. Может, и опять – мимо. Любые комментарии, в том числе к «Верно: хлюпаньем не хлопком» будут приниматься с интересом и благодарностью, а стихам нисколько не повредят, по несовместимости жанров. У меня с 1-го, а окончательно с 4-го апреля началась иная эпоха. Хроническая лимфатическая лейкемия (белокровие). В прилагательных хро. и ли., как меня убеждают, залог не немедленности. А большего тебе про эту неизлечимую хворь пока написать не могу, ибо я в

ней – новичок, и ее характер станет ясен мне на опыте. К сожалению, на личном. Поэтому в эти последние два месяца весны – по вашему счету – я онемел напрочь, не понимая, как мне быть, в том числе и в письмах, коих я тоже не писал, пока не попривыкну.

Привет Алене. Лёня. 18. 5. 79.

С годами таких сообщений становилось все больше, но стиль подачи почти не менялся. Изменился он только незадолго до смерти. В письмах последних лет сводки о здоровье просто резали по живому, и отвечать приходилось как бы поверх испуга, поверх невыносимой боли.

Тогда он опять начал мне сниться, и я просыпался с той же дикой, рвущей душу тоской, что и тридцать лет назад, когда мне снилось, что мой друг вернулся в Москву.

Всадник приближается к Городу. Уже стоит посреди площади в толпе стражи. Это Лёня. Значит, не пропал, не погиб, только выслан из Города, и вот тайно вернулся на несколько часов. Я говорю: «Лёня, а я не верил, что ты вернешься. Неужели я действительно вижу тебя снова?» Он как-то картинно сплевывает и, идя вслед за Мишуткой, говорит: «Ты знаешь, я закончил сейчас одну вещь, – шпионский роман, настоящий израильский Джеймс Бонд».

Откуда в этот сон приблудился Джеймс Бонд, понятно: это «привет от Зиника». Наш товарищ хотел когда-то написать авантюрный роман и даже звал меня в соавторы. Привязки другого сна – двадцать лет спустя – не так очевидны.

Лёня приезжает, мы сидим с ним в ресторане. Он рассказывает, что напечатался в новом журнале «Форвард». Вдруг наш столик окружают какие-то громоздкие старики-евреи в шляпах и макинтошах, тянут поверх меня руки – поздороваться с Лёней: «Мы знакомы по Социалистической партии!»

Когда мы в 1990 году приехали в Израиль, в один из первых дней Лёня вдруг заговорил о провинции и метрополии отношений, разумея Москву метрополией, а Израиль провинцией. Я слушал его с удивлением и готовился рассказать, как мы носились с каждым письмом, как бесконечно обсуждали их дела и успехи, – лет десять это было чуть ли не единственной темой разговоров. Казалось, что наша жизнь ушла, мы призраки. А вернее, мы зрители с галерки, напрягающие зрение, пытающиеся разглядеть собственную жизнь, почему-то оказавшуюся на совершенно недоступном расстоянии.

(Кажется, так и не рассказал. В тот раз обстановка показалась

неподходящей для большого разговора, и я решил его отложить до лучших времен. Которые так и не настали.)

Тогда же выяснилось, что Лёня помнит все мои письма почти дословно и легко цитирует по памяти. Меня это даже испугало.

Я вообще не очень понимаю, что там с ним происходило. Знаю, например, что в отпуск он поехал впервые через одиннадцать лет после переезда. И провел его в «поселке городского типа» под Натанией. Знаю, что он страшно не хотел брать кредит и купил квартиру за наличные.

Еще знаю, что в нем долгие годы ощутимо жила уверенность: «все было правильно хоть плачь, хоть колотись». Но на все тридцать лет ее, кажется, не хватило. Да и обстоятельства были, что называется, не на его стороне.

В 1990 году это был уже немолодой человек, очень худой и болезненного вида. Глубоко вздыхал, словно ему не хватало воздуха. Глаза как-то оголились. Из-за ресниц? Я знал, что когда-то у него выпали все волосы после химиотерапии, и он даже пробовал носить парик. (Потом волосы снова отросли.) Я понимал, зачем ему нужен этот странный парик: чтобы не выглядеть несчастным хотя бы издали и для случайного взгляда. Несчастный – это тот *неимеющий*, у которого еще отнимется, и всякий волен отнять.

Он *держался*. Это сразу чувствовалось и явно входило в задачу: быть подтянутым, держать форму. Даже дома не снимал ни пиджак, ни галстук. В Израиле, где все ходят в шортах и майках, такая одежда – своего рода эксцентрика.

Однажды показал глазами на верхний балкон: «Наверху живет мальчик-баскетболист. Все время стучит мячом об пол. Я просто с ума схожу. Хотел даже пойти поговорить с его родителями, но потом подумал: ну, когда-нибудь он же перестанет стучать!» И сюда же подверстывается почему-то еще одно его тогдашнее замечание: «В моем сборнике есть опечатка: не поставлена точка. Я должен исправить. Всякий, кроме тебя, сочтет меня сумасшедшим».

Единственный из нашей компании, он научился водить машину – и не в первые израильские годы, а в конце девяностых.

Галя рассказала недавно, как долго не могли они тронуться в его последнюю больницу, потому что Лёня сначала должен был решить какую-то математическую задачу для сына и отказывался ехать, хотя сам уже не стоял на ногах. «Меня всегда поражала, – сказала она, – эта его способность уходить от болезни».

Но в девяностом году Лёня ходил по-прежнему очень быстро,

и я еле поспевал за ним. Во время первого прохода по Иерусалиму на все указывал через плечо, мимоходом, не замедляя шаг. На чуть выцветшее небо: «хамсин». На небольшую возвышенность: «Сион».

Я обратил внимание на одну странную вещь: он всегда говорил «спасибо» продавцам, официантам. И те ему *никогда* не отвечали. Лёня подтвердил мое наблюдение, сказал, что злится на себя за идиотизм, но ничего не может поделать. К чему-то просто не может привыкнуть.

Во время единственного вечера с чтением стихов он с особенным чувством читал «Звезды» Ходасевича: «Не легкий труд, о Боже правый, / Всю жизнь воссоздавать мечтой / Твой мир, горящий звездной славой / И первозданною красой». Читал как свое, как про себя. Это и было – про него.

– Какая она красивая, эта Иудейская пустыня.

– Красивая. Но мы предпочитаем оазисы.

Иудейская пустыня видна только с высоких точек его района, а сам район действительно напоминает оазис. В их садике много розовых кустов. Лёня аккуратно подсчитывал количество бутонов и в том месяце насчитал рекордное их количество: сто штук. В этом саду происходили главные разговоры. Про стихи, про непонятные места в моих письмах. Про первые годы в Израиле, когда он боялся потратить лишнюю копейку.

Был один вечер, когда мы сидели вдвоем и крепко выпили. Лёня тогда предлагал мне остаться и – если захочу – жить у него. Но потом сам же подсмеивался: «Давайте останемся – как говорил Хоттабычу кондуктор».

Мы, конечно, не остались и приехали в следующий раз только через шесть лет. Лёня еще больше изменился. Даже при нас ему не всегда хватало сил отогнать мрак, ощутимо подступающий со всех сторон. Он уже почти не пил, пьянел от одной рюмки. Вздыхал: «О господи». Неожиданно уходил в свою комнату и не сразу возвращался. Один раз просто ушел, не попрощавшись.

Я показал ему последнюю свою статью, продолжающую разговор о стихах, но лично к нему отношения не имеющую. Он только спросил: «Ты давно это написал?» – и какое-то «о-хо-хо» печальное.

Как-то раз я вытолкал себя из постели, чтобы посидеть с Лёней до его ухода на работу. Когда я спустился, он мыл посуду – и продолжал это занятие неторопливо, упорно, в полном молчании. Потом долго ее раскладывал, эту посуду. Сел читать

газету. Я едва верил собственным глазам и долго не решался заговорить.

– Похоже, я не порадовал тебя на этот раз?

– Видимо, взаимно.

– Да нет, почему же… Но очень грустно видеть, что мрачность становится идеологией.

– А вот это как раз похоже на Витю. Это он всегда упрекает меня, что я ворчу и все вижу в черном свете. И не хочет понять, что я говорю, а только как бы подбадривает: держи, мол, хвост пистолетом.

Грустно вспоминать этот ненужный и с моей стороны крайне неумный диалог. Еще грустнее, что наш единственный на тот приезд свободный и открытый разговор получился в последний день, и то по телефону. Лёня сказал, что не понимает, почему казался мне мрачным, и просит объяснить это в письме. «А твоя фраза про «уши вянут» – это вроде наша первая в жизни мини-ссора? Это хорошо, это правильно, – нельзя совсем не ссориться».

В июле 1997-го Лёня приехал в Москву, и мы встречались каждый день. Это был совсем другой человек: радостный и возбужденный, глаза сияли. Только раз я видел его довольно мрачным, когда опоздал на встречу (на пару минут). «Я всегда прихожу раньше, – огорченно сказал Лёня. – Получается, что я больше заинтересован в наших встречах».

Здесь он, положим, ошибался. Но и эта ошибка говорит о многом.

С чем-то он не мог смириться. Органически не принимая любые формы компромисса, он не мог существовать в двусмысленных ситуациях, а вся формальная (ритуальная) сторона человеческих отношений была ему непонятна и совершенно чужда. «Я не умею склеиваться из черепков… Из надежды и ожидания я живу только ожиданием, не надеясь. Я вас люблю, но на вас не надеюсь. Я вас обнимаю и целую» (25. 02. 77). Что было сущностью, сутью этой нетерпимости? Мне кажется, он упорно полагал, что в людях можно видеть только людей (а не своего рода пациентов).

Но близкие люди до конца его дней продолжали штурмовать эту крепость. Все на что-то надеялись. Для всех он был не рядовым событием жизни, а центральным, основным. Одним из тех событий, от которых невозможно отказаться. Помимо яркости, таланта, обаяния и цельной, без единой трещинки, подлинности было в нем еще что-то редкое, редчайшее. Чистота? Да, наверное, чистота. За всю жизнь к нему не пристало ни пылинки.

«Он был человеком „с рисунком“, понимаешь? – кричал в

телефон Шахновский. – Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Я понимал. Этот рисунок облика и характера был предельно четко очерчен еще в ранней юности и потом уже не менялся.

Почему ему так не повезло, за что? Почему жизнь так обошлась с ним? Его постоянная неприкаянность – в чем ее природа? Это горестное недоумение, ежесекундное вопрошание, от которого он и обессилел в конце концов, как от пытки.

Есть люди, словно помеченные черной меткой.

Кафка писал о себе: «Моя неспособность мыслить, наблюдать, констатировать, вспоминать, говорить, принимать участие в жизни других возрастает с каждым днем, я становлюсь камнем… Если я не найду спасения в работе, я погиб».

Пока Лёня писал, спасение приходило, гибель отступала. В его поздних стихах есть единый внутренний сюжет, в очень грубом упрощении он может быть прочитан так: «человек наедине с языком» или «человек наедине с самим собой». «Что смертный делает, когда / имеет он досуг?» Это предельно честная попытка получить единственный ответ на *предельно* честно поставленный вопрос. Слог упрощается, потому что попутные обстоятельства постепенно становятся несущественными. Все сходится в точку, человек остается наедине с собственной жизнью. Какая смелость – так прямо смотреть в самый темный угол существования, в затягивающую воронку, от которой все непроизвольно отводят взгляд.

Непонятно, как он удерживает равновесие, не срываясь ни в надрыв, ни в описание. Сдержанную констатацию иногда взрывают признания, но как бы сквозь зубы: краткий анамнез или сводка событий. Этот почти спокойный тон осаживает стихотворение у самого края надсада. Душераздирающие строчки не меняют общий характер текста – сосредоточенного и простого. Остаточная жизнь души не переходит в остаточное письмо. Загадочно это продолжающееся парение в самых высоких лексических слоях. Поразительна его неуступчивость.

Позже всего пришло мне в голову то, что человек посторонний увидел бы сразу, в первую очередь: Иоффе первому (по крайней мере, в русской поэзии) удалось обратить собственную смертельную болезнь в такое гармонически-пронзительное звучание, что в стихах уже как будто и речи нет о болезни.

А я – волан, перо, пушинка
среди весомых гирь-людей,
и даже есть немного шика

в прискорбной легкости моей,

теперь и в тяжести я лёгок,
теперь и рядом я далек,
я задеваю женский локон,
как парижанку ветерок.

С меня, как с гуся, те часочки —
не каплет время не жильца —
ведь, как песок в часах песочных,
я истекаю для конца.

Но уже в 1994 году Лёня написал мне, что перестал себя чувствовать «современным поэтом». Я не согласился, но он и здесь был неуступчив. «Могут ли что-то исправить 90-ые годы, если мы не были литературным фактом в 60-ые, 70-ые и 80-ые (с поправками, разумеется, на советскую власть, особую литературную судьбу и заграницу)? То есть наши сверстники (или, шире, наше поколение) жили свою жизнь без наших стихов, нас не читали или почти не читали, в главные годы их жизни и нашей жизни ни нас, ни наших стихов для них не было. Поздняя любовь, если и бывает, вряд ли может соперничать с любовью вовремя. Нечто подобное произошло, по-моему, со стихами Арсения Тарковского. Казалось бы, он выжил и получил всероссийское признание. Но его читало и в него влюблялось не его поколение, отчего и его поэтическая судьба, на мой взгляд, несмотря на выживание и признание, остается отчасти ущербной» (25. 05. 97).

«Неподхваченность» – его тема, постоянная и горькая. Не очень мне близкая. Иоффе – не тот поэт, что существует только в своем, синхронном времени, где его сетования были бы, пожалуй, уместны. Он поэт надолго, он существует во времени, отменяющем времена.

Свою неизвестность Лёня явно и настойчиво преувеличивал. Я знаю многих его искренних, даже истовых поклонников, но Лёня и в них не хотел верить, подозревая тут какое-то недоразумение. «А-а, Иоффе! – заявил вдруг Витя Кривулин (в 1999 году). – Он был *страшно* моден в конце семидесятых, его печатали все эмигрантские журналы». Вот как, оказывается, это выглядело сквозь ленинградскую оптику (впрочем, всегда несколько диковинную).

Только в последнюю весну (2003) появилась, наконец,

реальная возможность встретиться и почитать втроем на нейтральной территории. Владелец самого заслуженного венского литературного клуба заочно влюбился в этого автора и вызвался оплатить приезд Иоффе, а заодно двух его сослуживцев – Сабурова и меня. Но Лёня уже не мог никуда выезжать и печально сообщил мне об этом: «Нереально».

В конце июня мы говорили с ним по телефону. Голос звучал слабо, каждое слово давалось ему с трудом, явно требуя большой затраты сил. Но так уже бывало, – например, в прошлом году, после онкологической операции. Испугало меня другое. Растерянность?

Лёня говорил, что его преследуют несчастья. «Вдруг глаз стал болеть, как будто его давит что-то изнутри». Опять спросил, могу ли я пить, курю ли. Не давала ему покоя эта тема. Я осторожно занижал дозу, сказал, что выпиваю несколько рюмок – иногда. А если больше, то на следующий день не могу в себя прийти (что, в общем, правда). Он говорил, что почти ни с кем не общается и не знает, как жить дальше. «Вот переписка наладится, тогда…» И добавил: «Наша переписка – одна из нескольких опор моей теперешней жизни».

О налаживании переписки есть и в самом конце его последнего (да, теперь последнего) письма: «Я пока этим ограничусь, а побольше напишу после того, как переписка опять наладится и станет регулярной». А перед этим только разные конкретные соображения и указания, ни слова о болезни.

Самолет опоздал на шесть часов, в свою квартиру я вошел уже ночью. Сразу бросилась в глаза записка рядом с телефоном: «Позвонить Вовуле Шахновскому».

– Что-то случилось? – спросил я, но уже знал ответ.

Не помню, что делал весь следующий месяц. Как будто вообще ничего не чувствовал и не понимал. Какая-то глубинная контузия отключила сознание, заглушила чувства, кроме забирающего все силы горестного недоумения. О котором он сказал когда-то лучше нас: «Его уход ощутился вдруг такой насмешкой над жизнью, просто повержением ее в прах. Что ему – там, в холоде – от наших о нем разговоров, от нашего рытья в его словах» (18. 03. 82, о смерти Павла Гольдштейна, «старшего друга»).

Минус тридцать по московскому времени

Семидесятые годы прошлого века – время на моей памяти самое загадочное в художественном отношении. Сразу и внятно растолковать свой тезис я не могу и буду возвращаться к нему по ходу статьи. Согласятся со мной немногие, но если большинство загадок остались незамеченными, то это не опровергает, а подтверждает предположение.

Тридцать лет – срок, переводящий события и впечатления в зону истории или архива. Но поскольку архив не собран, а история не написана, эти впечатления не желают уходить с миром, уступая место другим. Неуступчивость позволяет им оставаться живыми. Возможно, и поучительными.

Основное содержание статьи – реакции читателя групповых сборников «Московское время», появившихся ровно посередине того туманного десятилетия. В этих реакциях много типового, характерного; в них есть какое-то сообщение о воздухе времени. Мне кажется, не стоит их замалчивать.

Если не ошибаюсь, именно в 1975 году Д. А. Пригов и скульптор Борис Орлов начали собирать в своей мастерской художников и поэтов, постепенно обнаруживающих нечто общее в своей работе. Пригов и дал мне на прочтение два самодельных томика в оранжевом переплете – «Московское время».

Всего таких томиков было четыре, составлялись они в течение двух-трех лет, начиная с 1974 года. Авторов было довольно много, не меньше пятнадцати, несколько явно случайных. Почему столько? За таким солидным составом мерещилась литературная студия. Как потом выяснилось, большинство членов группы действительно посещали одну студию: «Луч», при Московском университете.

Массовость была не на пользу делу: на первый план выходило общее, среднее. Это *среднее* и вызывало некоторое недоумение, но о нем чуть позже.

Ядро группы выделялось из общего состава без особых усилий: Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Александр Сопровский, Алексей Цветков. Еще несколько авторов примыкали к ним вполне естественно, например, Татьяна Полетаева или Павел Нерлер. Некоторые стихи я прочитал не без зависти: многие вещи Цветкова, послание Кенжеева на отъезд (совсем недавний) Цветкова, стихотворение Гандлевского «Друзьям-

поэтам»:

Три поэта ждали смерти,
Воду перчили тоской,
За собой на длинной жерди
Флаг тащили шутовской.

Сборники оставляли сильное ощущение общности; там было много дружеского, юношеского. На этом фоне очень выделялся Алексей Цветков. Он был старше большинства своих товарищей на пять-шесть лет – огромная разница в возрасте за двадцать, и она очень чувствовалась. Не только потому, что стихи Цветкова уже тогда были отмечены, что называется, зрелым мастерством. Принадлежность группе слегка маскировала его инородность, но лишь поначалу, и то не слишком успешно. Со стороны было видно, что это стихи автора с признаками другого литературного сознания. Отчасти – человека другой эпохи.

Лучше за три сибирские Леты,
Через тундровый мак навсегда,
Где ведут юкагиры и кеты
Протокол выездного суда,
Где за нерпой тотема в трехмесячный мрак
Персефона стремит умиак.

Я справляюсь время от времени, что такое «умиак», потом снова забываю, и это не мешает мне читать или вспоминать стихотворение. Значение выясняется в звучании и лексическом контексте. «Умиак» – одно из слов личного поэтического языка Цветкова, но там все слова – личные, даже те, чье словарное значение общеизвестно. Сильное уплотнение стихового ряда – общее свойство авторов, создающих язык «вновь как заново». Ко времени выхода группового сборника основные свойства цветковского языка уже были видны: акмеистическая закалка и выделка стиха в соединении со смысловыми превращениями, возможными только после обэриутов. Новацией воспринималась и работа с цитатами, которые Цветков замечательно переигрывал и загибал в другую сторону. (Реплика a parte: к языку Цветкова внимательно и с пользой для себя приглядывались авторы двух следующих десятилетий. Первые кальки с мастерски обработанных изломов цветковского стиля вполне узнаваемы, но постепенно картина становится все более затертой.)

При этом еще были заметны следы происхождения, труды и

дни литературного ремесла: «ласточки», взятые напрокат у Тарковского, некоторая ритмическая монотонность. Образность Цветкова иногда оказывалась предсказуемой и не выходила из области, уже освоенной поэзией. Впрочем, и такое, «литературное» слово-сравнение часто появлялось в неожиданном и точном приложении: заводило новую интригу, далеко идущую, увлекательную. «Когда деревья, дачные цыгане, / Выпрастывают темные тела».

Такие вещи не выглядели случайными стилевыми оговорками. В литературном происхождении авторов «Московского времени» было много общего, и далеко отойти друг от друга они пока не успели. Манифест группы не был обнародован (не был даже написан), но какие-то его пункты читались достаточно ясно: возврат к традиции, воссоздание поэтической нормы. Оттачивание стиховой техники. Отчасти и коллективная литературная работа: целенаправленная выработка нормативного стиха и большого стиля (кстати, небезуспешная). Чувствовалось, как им важны «профессиональные навыки». Как они вообще *доверяют стиху*.

Но и само существование плеяды, крепко повязанной изнутри творческой дружбой и литературной ревностью, – тоже восстановление лучших традиций. Эстетическая позиция группы имела заметную этическую подоплеку: реанимация литературной нормы мыслилась как первое движение к общей (общественной) нормальности. Как борьба с хаосом.

Казалось, что «Московское время» понимает и заявляет себя не только группой, но и школой. Удивительны были оба заявления.

Существование школы предполагает определенную художественную и языковую конвенцию. Предполагает, иначе говоря, какое-то определенное – и достаточно компактное – представление о поэзии. По крайней мере, уверенность, что какие-то ее координаты нам достоверно известны.

Но литературная ситуация того времени задавала авторам самые простые вопросы: что такое стихи? могут ли они существовать *сейчас*? если могут, то как их распознать? Априори ни на один вопрос нельзя было ответить ничего определенного. Определить можно было только негативные, отрицательные характеристики, и под особым подозрением находился как раз нормативный поэтический язык, на глазах превращающийся в цеховое арго. Вышколенный стих, беглость версификации

казались непростительной самоуверенностью.

«Привил-таки классическую розу / К советскому дичку», – написал Ходасевич. Такую прививку очень хотелось повторить, но классическая роза нам не принадлежала, а дичок успел засохнуть. Нам не принадлежало ничего.

Дело, повторяю, происходит в середине семидесятых, а все действующие лица являются участниками «второй культуры», андеграунда, литературного подполья. Особые обстоятельства (прежде всего необходимость частной поддержки и совместной обороны) сводили авторов в подобия маленьких творческих союзов. Это и были тогдашние *школы и группы*. Поэтов притягивали друг к другу взаимный интерес и личная симпатия. Они сходились и расходились. Сходство несхожего, сведение несводимого – вот основа андеграунда. Люди подполья были одиночками, аутсайдерами, противостояли не чему-то одному, а всему сразу. И такое противостояние – худший повод для объединения.

Но и разобщенность андеграунда (ведущего, в общем, окопное существование) не стоит преувеличивать. Все читали друг друга очень внимательно: пристально, придирчиво, ревниво и пристрастно. Творилось что-то совершенно новое, кто-то мог захватить (проявить) это *новое* первым, а следующая возможность когда еще представится. Сейчас понятно, что это были напрасные хлопоты. Такая «первая» новизна не может быть лишь частным достижением, а только результатом неявно и невольно объединенных усилий.

Система была, конечно, достаточно замкнутая, но эта замкнутость имела особый характер и смысл. Она (система) была замкнута не как камера, а как электрическая цепь. Внутри нее – именно благодаря замкнутости – происходило постоянное движение тока.

В такой выработке общего электричества «Московское время» несомненно участвовало, но было неясно, как именно это происходит: как они включаются в эту цепь? в каком месте?

В жанровой принадлежности и даже в облике сборников было что-то, не свойственное андеграунду того времени. Появлявшиеся в подполье самодельные издания имели характер литературного или литературно-общественного журнала либо альманаха, формировавшегося согласно частным представлениям о сегодняшнем состоянии словесности. Это был, собственно, род критического высказывания, только читатель должен был вывести его самостоятельно из приведенных примеров. Характерный

образчик – ленинградский альманах «Живое зеркало», составленный К. Кузьминским. По количеству авторов (14) и времени выхода (1973) это почти двойник «Московского времени». Но сходство цифровых параметров только подчеркивало принципиальную несхожесть.

«Московское время» выглядело не альманахом, а именно коллективным сборником. Не собранием разных авторов под одной обложкой, а совместным выступлением – и даже *наступлением*. Иными словами – групповым манифестом.

Реальный и культурный возраст авторов не всегда совпадают, особенно если речь идет о группе. Побеждает какая-то одна тенденция. Но культурный возраст «Московского времени» сразу не угадывался. Старше они или младше? Как будто одновременно и старше, и младше, но определенно не ровесники.

Какие-то обстоятельства заявляли их общность с предшествующим культурным поколением, и в первую очередь – этот наступательный, манифестарный характер сборника. Решительный, рассчитанный на большую аудиторию литературный манифест мы слышали довольно давно, за десять лет до появления «Московского времени». СМОГ («Самое молодое общество гениев» или «Смелость-мысль-образ-глубина») – одна из немногих литературных групп, образование которых точно датировано: она появилась в январе 1965 года. Но это была другая эпоха. Поэзия и гражданский протест еще не разделились, не стали разными видами деятельности. СМОГ был объединением не только литературным, но и общественным; его деятельность – составная часть правозащитного движения: защита авторского права. Право автора на публикацию и публичность смогисты вводили явочным порядком, читая свои стихи всюду, где это было возможно и даже невозможно.

Авторы «Московского времени» общались и дружили с некоторыми участниками СМОГа: Аркадием Пахомовым, Юрием Кублановским, Владимиром Сергиенко. Что-то, вероятно, от них переняли: литературную гражданственность, а еще характерную авторскую повадку – вольнолюбивую и не без эпатажа. Иногда, на мой вкус, резковатого.

Временную принадлежность некоторых обычаев распознать было не так просто. Члены группы много, охотно и виртуозно писали стихи «на случай» и дружеские послания. Для Сопровского и Кенжеева совершенно естественным было даже включение таких вещей в общий ряд, наравне с «серьезными» стихотворениями, хотя тогда эти жанры казались достаточно

маргинальными. (Только следующее десятилетие вернуло им все права.) Обращаясь к поэтическим нравам прошлого века, к духу лицейского кружка, авторы «Московского времени» возвращали поэзии «сообщнический и почти цеховой характер» (Роберт Грейвс).

Это были симптомы другого литературного этикета, другого московского времени. Группа (вопреки именованию) как будто обходила стороной то время, в котором она реально существовала: то отставала, то забегала вперед. Это было не ее время. А чье? Что это вообще было за время?

Вероятно, всякую новую эпоху начинают впечатления смутные и болезненные. Семидесятые годы не были исключением. Художественные идеи шестидесятых продолжали существовать, но их почва быстро истончалась. Требовались другие прививки. Новая эпоха начиналась исподволь, почти неосознанно. Людей, которые ее чувствовали и пускали в дело еще на рубеже десятилетий, можно пересчитать по пальцам. (Картина Э. Булатова «Горизонт» датируется 1971–1972 годами, с нее, пожалуй, и начинается отсчет нового художественного времени.)

В середине семидесятых идеи разных эпох сошлись в одном времени, в одной временной точке. Случилось какое-то обвальное соединение прошлого, настоящего, будущего. И каждый выбирал свое.

Я совершенно разделяю мнение людей, считающих, что искусство не умирает и не умрет – хотя бы потому, что умирало уже много раз. И все же необходимо доверять автору, чувствующему запах тления. Это довольно страшное ощущение, мало кто согласится жить с ним добровольно, из чистого интереса. Еще страшнее, когда живой автор начинает чувствовать и понимать себя как автора мертвого. Но в каких-то случаях это не проблема личного самочувствия, а то, что называется «вызов времени».

Идея «смерти автора» к нашим дням сама успела умереть, и уже довольно давно. Но тогда она была живее всех живых (именно тогда, в семидесятых: конкретисты еще не подозревали себя «мертвыми авторами»). Вызов был слышен на редкость отчетливо. Это была самая острая, самая болезненная художественная идея эпохи, тоже не слишком здоровой. У таких идей есть одно странное свойство: в конечном счете проигрывают и те, кто с ними соглашается, и те, кто их не замечает.

Причины и смысл происходящего в те годы – тема не для

короткого отступления, а для пространной статьи. А нас занимает сейчас «Московское время» и их реакция на такой вызов. Оптом ее можно оценить как неприятие и решительную оппозицию. Но это поэтическое объединение, манифестирующее себя сплоченной группой, на деле объединяло авторов, совершенно несхожих. Не было сходства и в том, с каким вниманием они отнеслись к литературной ситуации и ее проблемам. Кто-то действительно почти не заметил, кто-то старался обойти, кто-то – преодолеть.

Все высказанные мной недоумения о первоначальной позиции и стратегии «Московского времени» имеют прямое отношение к тогдашним стихам Александра Сопровского. Их традиционный облик с течением времени размывался, но – как будто преодолевая отчаянное сопротивление. Ориентиры меняются по ходу движения, что часто приводит к невыполнению первоначальных обязательств. Сопровскому, человеку и автору строгих правил, сделать это было, пожалуй, труднее всего. «Он постоянно держал в уме очень жесткую шкалу мировоззренческих оценок», – пишет Гандлевский. Саша был человеком необычным, даже странным, но эта странность почти не отпечаталась в его стихах. Только в конце восьмидесятых у Сопровского появились вещи, заявлявшие новое, неожиданное развитие, и было понятно, какая стихия размывает правила стихосложения: открытый голос, прямая речь.

Мне говорят: голод,
Холод и Божий молот.
Мир, говорят, расколот,
И на брата – брат.

Все это мне знакомо.
Я не боюсь погрома.
Я у себя дома.
Пусть говорят.

Если вглядеться попристальней, обнаружишь, что нарушение неписаного устава было заметно еще в каких-то стихотворениях из группового сборника. Нарушение если не общих законов, то частных предписаний. Дружеским посланиям, например, предписывается добродушие и некоторая сентиментальность. Но как раз полное отсутствие добродушия и сантиментов делали таким интересным стихотворение Сергея Гандлевского «Друзьям-поэтам». Позже Гандлевский заявил «критический сентиментализм» как особое направление (а присущее ему

чувство *уместности* проявилось и в том, что он не слишком настаивал на своем заявлении). «Пройдет время, и мы узнаем, что наши лучшие годы, расцвет пяти чувств, беспричинный восторг – не вполне, как бы это сказать, правомочны, обман детского восприятия» – слова из его статьи с тем же названием («Критический сентиментализм»). Человек, понявший однажды меру своего заблуждения, даже добрые чувства станет оценивать критически. Но сдержан тот, кому есть что сдерживать, а случаи, когда сдержанность изменяет, по-своему убедительны, – даже в художественном отношении.

Я давно стараюсь разобраться в механизме стихов Гандлевского, но критический навык отказывает или подбрасывает такие слова, как «сдержанность», «уместность», объясняющие, скорее, поведение, а не поэтику. Возможно, у этого автора поведение и поэтика совместимы, даже совмещены. Литература так разворачивается, что становится биографией. Классичность Гандлевского в первую очередь совершенно уместна. Он как-то сразу угадал свой род стиховой работы, который я рискну обозначить словосочетанием, звучащим как оксюморон: современная классика. Его стихи не просто набирали такое состояние с течением времени, но имели его с самого начала: так мыслились, так и разрабатывались.

Прочитал в книге Гаспарова суждение Плутарха: «Хорошее искусство – это то, которое современникам кажется старинным, а потомкам – новым». Искусство Гандлевского кажется современникам и новым, и старинным. Строчка, чье авторство на мгновение забыто, ошибочно отправляется за ответом в другое время, но тут же возвращается обратно: «Если б я был не я, а другой человек…» В стихах Гандлевского присутствуют то же спокойное благородство, та же точность, что и в классическом высказывании. Кажется, там не сдвинуть ни запятой. Но еще несколько строк – и мощный эмоциональный удар обрушивает всю классическую архитектуру стиха, только что выстроенную с таким тщанием.

> Если жизнь дар и вправду, о смысле не может быть речи.
> Разговор о Великом Авось.

Может быть, эта взрывная волна, идущая через все лучшие стихи Гандлевского, и делает их *современной* классикой. Но это только одно из возможных объяснений.

Гандлевский открывает внутри поэтической традиции потайную дверь, ведущую в какое-то сложно устроенное пространство разной плотности. Такое строение делает стихи

зачатком романа, сюжет которого – прохождение сквозь разные словесные состояния, как через ряд испытаний.

Сходный сюжет прочитывается и в биографиях авторов «Московского времени». Государство опомнилось от перетряски и усаживалось поудобнее, подминая все шероховатости. Устраивалось на тысячу лет вперед. Предположить какие-то изменения к лучшему было так же немыслимо, как представить, что у египетской пирамиды вдруг зашевелится основание. Чтобы выдержать давление пирамидальной власти, следовало закатиться в самую глубокую щель. Люди из «Московского времени» как будто выполняли его, времени, предписания (недаром так назвали свою группу). Но сказывался другой культурный возраст; стратегия групповой оппозиции постепенно корректировала идею замкнутого подпольного существования. Более сложным было отношение к публикациям: они все же предполагались, имелись в виду.

К концу семидесятых на счету каждого из основателей группы (за исключением Сопровского) было несколько легальных публикаций. Даже журнал «Юность» – своего рода «испытательный стенд» подцензурной литературы – предоставил несколько своих страниц стихотворениям Цветкова и Кенжеева. Не думаю, что редакции посчитали их своими единомышленниками, но один пункт деклараций как будто совпадал: бережное отношение к традиции. Это совпадение тоже было ошибочным и довольно скоро разъяснилось: пункты совпали, но традиции оказались разными. Идея легальных публикаций потеряла привлекательность, все пошло привычными путями: публикации в русских зарубежных журналах, работа сторожами и разнорабочими, «прокурорские предупреждения» и так далее. Далее почти обязательный для того времени территориальный раздел: Цветков и Кенжеев уехали, Гандлевский и Сопровский остались.

И оставшиеся, и уехавшие были довольно резкими молодыми людьми – с вызовом и не без сумасбродства. Они, похоже, соревновались по части удали молодецкой. Тон задавал Саша Сопровский. Он и был, видимо, центральной фигурой группы, ее *собирателем*.

Фигура собирателя группы не имеет определенных черт: все зависит от характера этой группы. Сопровский оказался в центре именно «Московского времени» благодаря свойствам натуры, крайне редко соединяющимся в одном человеке: азарту и добродушию, идеализму, деятельному нетерпению и упорной общественной *потребности*. Он предъявлял жизни собственные

требования, довольно жесткие, и нимало не смущался, когда жизнь отказывалась их выполнять. Этот мешковатый, не слишком ловкий человек в этическом отношении отличался какой-то офицерской выправкой; еще в юности он скомандовал себе «вольно», но с такой строгостью, что вышло строже любого «смирно».

Общественный темперамент не давал ему покоя и требовал выхода.

Легальный выход нашелся только в начале «перестройки», когда «Московское время» пережило второе рождение – уже в виде литературного клуба. Руководимый Сопровским клуб активно искал новые формы публикации, легализации и очень выгодно отличался – чистотой намерений – от других возникавших тогда объединений. «Московское время» осознанно дистанцировалось от литературного истеблишмента, не стремилось ни войти в него, ни заместить его собой.

С появлением клуба в Сопровском обнаружились совершенно неожиданные качества: то ли административные способности, то ли невероятная сила убеждения. Маленький пример: кафе «Метелица» на Новом Арбате. Трудно понять, какие чары заставили администрацию этого злачного (и довольно смрадного) заведения отдать один из двух своих залов под регулярные поэтические чтения. Время, конечно, было странное, но не до такой же степени. Благородство клубного устава проявилось и в заявленном чередовании (через раз) выступлений членов клуба и приглашенных авторов. Второе по счету чтение было 10 февраля 1987 года, значит, первое – на неделю-две раньше. По окончании все же недолгого романа с «Метелицей» клуб прочно обосновался в Доме медиков на Большой Никитской. Регулярные выступления проходили то в большом, то в малом зале. Мощный темперамент культурного лидера постепенно смещал направление деятельности клуба. Обычным явлением стали открытые общественно-политические дискуссии – как правило, «на грани фола»: скандала с угрозой последующего закрытия. По инициативе Сопровского и в основном его усилиями был сделан первый официальный вечер Александра Галича, очень массовый и успешный.

В конце восьмидесятых клуб был открытым и популярным местом, собирал полные залы и, пожалуй, потерял свой приватный характер. Члены объединения перемешались с болельщиками. Первоначальный поэтический его состав расширился и омолодился, но это произошло раньше, когда к объединению постепенно, по одному, примкнули три незаурядных молодых автора. Виктор Санчук – старший среди

младших и первый по времени: 1982 год, если использовать «Трепанацию черепа» как архивный источник. Следующим был Дмитрий Веденяпин, последним Григорий Дашевский, год 1985-й. (Я, возможно, злоупотребляю датами, но память слабеет, история, повторяю, не написана, а хронология на самом деле очень важна.) Их принадлежность группе определяется совместными выступлениями или участием в деятельности клуба, потому что групповых сборников «Московское время» больше не выпускало. Какая-то общность клановых установок заметна, пожалуй, по нисходящей: убедительная у Санчука, условная у Веденяпина, а у Дашевского – мерцательная, едва ли уловимая.

Но к тому времени, о котором сейчас идет речь, к середине-концу восьмидесятых далеко разошлись и основатели объединения, каждый в свою сторону. Стало понятно, что определение, данное нами для андеграунда в целом, – «сведение несводимого» – относится и к ним. Печальная и окончательная ясность в этом деле пришла после гибели Саши Сопровского в декабре 1990 года. Она удостоверила, что именно его притягательный и практичный идеализм держал их вместе, позволял считаться реальным объединением. С начала девяностых говорить о *настоящем* «Московского времени» стало как-то неловко.

Похоже, я написал статью не о «Московском времени», а просто о времени: московском, но без кавычек. Объединение возникло и существовало как антитеза, оппозиция доминантным идеям своей эпохи. Правильная статья о них должна была бы стать повествованием о том, как одаренный человек существует во времени, которое ему неудобно или враждебно. Как он обходится с таким временем; как время обходится с ним. Правда, такие повествования они написали сами или продолжают писать.

«Цвэток»

О живущих пишут как об эстетическом феномене, а про умерших пускаются вспоминать во все тяжкие. Это пока непривычно, рука еще, слава богу, не расписалась.

Мое знакомство с замечательным прозаиком Евгением Харитоновым было неблизким, скорее эпизодическим, но длительным. Длилось оно лет семь. В первый раз увидел его в гостях у художника Фамилию Забыл (вспомнил: Андросов). Женя сидел с краю, на вторых ролях, озирался. Почему-то коротко стрижен, почти наголо. Взгляд тревожный и пристальный. И в движениях что-то резкое, дерганое. Спросил, откуда я знаю стихи Денисенко. «От Лёни Иоффе». – «А кто этот Лёня – тоже мальчик?» Всё было немного странно: и что не знает, кто такой Иоффе (в той компании все знали), и слово «мальчик», совершенно неходовое, неуместное даже по отношению ко мне, к Лёне тем более. (Год примерно семьдесят четвертый, и мне не так мало лет.)

Эта напряженность-неопределенность так и длилась почти до самого конца. Я его как-то дичился. Общение было литературное.

Кстати, до появления «Духовки» мы и не знали, что он пишет прозу. Да еще такую – как сказать? – простую. Совсем не «прозу поэта». Прозу о любви. И о *какой* любви! Внятность, открытость письма были так оглушительны, что не возникало никаких сомнений в личном характере переживаний. Это был, надо сказать, сильный шок, который еще больше усложнил отношения. Но Женя, конечно, учитывал все сложности, шел на них сознательно и с той смелостью, которая еще больше проявляла серьезность и значительность его авторства. Она, эта смелость, сразу стала восприниматься литературно, опознавалась как именно литературная характеристика. Не заметить новизну и артистичность его вещей было невозможно. Профессиональное занятие автора пантомимой только подтверждало впечатление: ведь и в прозе его за словами маячил какой-то выразительный, но безмолвный жест.

Я был на премьере его спектакля «Очарованный остров» в Театре мимики и жеста, но впечатление осталось довольно смутное. Больше всего понравилась программка, составленная Женей, необычная и очаровательная. А запомнился ярче всего сам Женя, шатающийся по фойе с молодым приятелем. Такого Женю я видел впервые: почти высокомерного, приодетого, даже

фатоватого. И при этом как будто черный окраинный ветер раскачивал обе высокие фигуры. Как будто путь они держат из одного заведения сомнительной репутации в другой совсем уже мрачный притон. Что-то такое качало его тогда и тянуло.

Но не затянуло. Через несколько лет я видел показательную репетицию его актерского кружка, и там уже было всё другое. Другой интерьер, другие лица, даже другие движения. Мальчики и девочки замечательно вольготно барахтались в какой-то огромной общей тряпке, взаимно пеленались и изобретательно дурачились. Женя (на этот раз милый и добродушный) прямого участия не принимал, только присутствовал со стороны. Но во втором отделении, когда все стали читать, тоже прочел что-то свое.

И еще о жестах. Помню, мы стоим около Дома ученых, ждем открытия авангардистской выставки. Открытие затягивается, потом отменяется вовсе. Случай довольно обычный, и Женя спокойно, даже с облегчением говорит: «Ну, что будем делать, друзья?» – и поднимает руки, по-дружески нас приобнимая. Нет – готовясь приобнять. Руки только поднимаются и – не коснувшись наших плеч – соскальзывают в исходное положение. Он вовремя спохватился. *Ему* это нельзя, такие жесты. И что-то мелькнуло в глазах, что потом долго вспоминалось. Описать очень трудно, как трудно представить себе одиночество совсем другого, куда более страшного рода, чем твое собственное.

Претендентов на другое плечо в той сцене два: Женя Сабуров и Дима Пригов. Нынешние Евгений Федорович и Дмитрий Александрович.

Потом мы заочно поссорились. Я был чем-то огорошен и обижен в его писаниях, – может быть, и не зря. Но незадолго до его смерти мы помирились, чему я несказанно рад. (Я заявил ему о своих претензиях, и он неожиданно со многим согласился.) Один та-кой, другой – другой. Женя был другой, совсем *другой*. Самородок, странный и особенный человек. На редкость обаятельный.

Есть люди, которые не позволяют себе быть обычными. При их появлении как будто мгновенно обостряются все чувства. Наверное, это называется «артистизм», и в таком способе существования есть свои неочевидные потери. Но таких людей мало, и к ним почти невольно притягивается взгляд.

В непритязательности Жениного поведения был какой-то магнетизм. В этом не было ничего от застенчивости или робости. (Зайдя однажды к нам в гости, для начала принял душ – «*после*

репетиции», а потом, обычно немногословный, весь вечер, что называется, «занимал рассказами». Все, открыв рот, слушали его уморительные байки, даже не пытаясь ввернуть что-то свое.) Скорее обдуманная сдержанность стороннего человека.

Его проза очень похожа на него. Артистически угаданная неловкость стиля, очень тонкая и уместная, как будто подсказана художественной основой человеческих движений. Интонации очень живые и речевые, при том что это внутренняя речь, художественная речь. Сейчас Харитонов кажется новатором. Почему? Не потому вовсе, что первым стал писать о «голубых». (И почему вообще первенство такого рода стало считаться художественной новацией?) Новая литература – это новый герой, интригующий незнакомец. Это человек, которого раньше не было, или он не решался себя обнаружить. Не решался писать. Но вот решился, наконец.

И это не типаж, описанный извне, а способ письма такого героя. То есть новый стиль. В таком приложении чуть иначе звучит знаменитая формула «стиль – это человек».

Давать характеристики этого стиля-человека здесь неуместно, тем более что придется говорить и о просчетах, – когда автор явно насилует свою нежную природу ради «последней правды» и тактической новизны обдуманного литературного делания. Нужно только сказать, что позиция «голого человека на голой земле» есть позиция *крайняя*. Таков же и стиль, идущий от этой позиции. Но проза Харитонова как будто даже уходит за край. Как все новое, она производит впечатление другого способа фиксации. Если чернила, то, пожалуй, симпатические. Если лента, то скорее лента Мёбиуса. Проза, отлетающая как вздох, как немая жалоба. Не литературный изыск, а новый способ описания, новая форма, может быть близкая той, которую предсказывал Леонид Липавский в «разговорах» со своими друзьями-обэриутами: «Я думаю, тут дело в том, что цветок для познания бесконечен, а человек нет. Ведь человека дают в искусстве как индивидуальную историю, как личность. Но может быть такой взгляд, когда и человеческие жизни предстанут писателю так же, как цветы художнику».

Именно эта цитата почему-то показалась мне уместной. Может быть, из-за удивительной фразы «Цвэток продуло» в одной из Жениных вещей. Мне кажется, что я помню этот цветок. Во всяком случае, в окно мы высовывались, когда были у него в последний раз. Жара стояла страшная, адская. А вечер получился удивительно хороший, долгий, с увлекательными разговорами и с чтением стихов. И стихи всем нравились.

Мы вышли, Женя выскочил на площадку провожать. Обрадованный удачным вечером, растроганный, стал что-то говорить вслед. Но мы у же спускались, и он пошел назад, махнув на прощание с какой-то – мне уже тогда показалось – безнадежностью.

Это было за пару недель до его смерти, больше мы не виделись.

Культовый автор

Говоря о другом человеке, главное – не увлечься и не начать говорить о себе. Чтоб подстраховаться, скажу о себе сразу, но очень коротко. В детстве меня не раз пугали собаки, поэтому я старался держаться от них подальше и вообще не любил. От этой фобии меня совершенно излечила книжка «До свидания, овраг», написанная моим другом Константином Сергиенко.

Собственно, в то время он не являлся еще моим другом, мы даже не были знакомы. Иван, мой товарищ, принес однажды десяток экземпляров его книжки и раздал всем желающим, сказав, что это необходимо прочесть и детям, и взрослым. Кое-кто остался к ней равнодушен, но те, кому книга понравилась, сразу и не сговариваясь, образовали какую-то первичную ячейку несуществующего «Общества любителей книги „До свидания, овраг“».

Есть выражение «культовый автор». В применении к литературе – это автор, чьи вещи для какого-то круга людей становятся дополнительным языком общения (вроде профессионального арго), захватывающим труднодоступные области отношений и впечатлений.

Так вот, Сергиенко – из породы культовых авторов, и масштаб этого культа принципиального значения не имеет. Определенных его читателей – служителей культа – объединяет не литературный вкус. Скорее, это род отзывчивости, чувствительности. Может быть, даже *неспособность* сопротивляться каким-то ощущениям. Это общность, которая обнаруживается только после прочтения культовых книг, а раньше о ее существовании не подозревали.

Настоящая проза говорит об авторе не меньше, чем о его героях. Не впрямую, разумеется: не о жизненных обстоятельствах, привычках или – не дай бог – идеях. Так о чем тогда? Очень условно: о его природе. Читая прозу, видишь, какое выражение лица было у автора, когда он писал эти строки.

Кстати, о выражении лица. Должен признаться, что первое знакомство с автором не сопровождал «эффект узнавания».

…Весна на подходе к лету – самое неспокойное время года. Апрель восемьдесят третьего был неожиданно жарким и поэтому особенно тревожным. Сильно забродившая смута требовала пеших переходов на большие расстояния. Но иногда надо было и передохнуть. За два квартала до дома Лёвы Рубинштейна я позвонил ему из телефона-автомата. В голосе хозяина не

слышалось особой радости, а приглашение звучало примерно так: «Ну, заходи, если все равно рядом». Ну, зашел.

И сразу, с порога понял причину немного кислого приглашения: из комнаты на меня обернулись два юных женских лица (темные кудри; русые пряди), карие глаза и серые глаза взглянули одновременно. Надеюсь, что буду помнить это до конца моих дней.

– Лана, – представилась обладательница серых глаз, русых прядей.

– Галя, но мы ведь уже знакомы?

В углу располагался незнакомый человек постарше меня: крупный, с полноватыми щеками, не очень понятными, неубедительными усиками и любопытными светлыми глазами. Если призывать на помощь сходство с каким-либо животным, то это все-таки будет кот. Поза и позиция профессионального наблюдателя. Зовут Костей.

Все потягивали вино, переговаривались, Лёва перебирал свои карточки, выбирал, что бы – по просьбе Кости – прочитать. Прочел «Каталог комедийных новшеств».

Человек в углу сдержанно развлекался ситуацией. Видимо, она казалась ему забавно-поучительной и в меру художественной. Одновременно он давал своим воспитанницам очередной урок по теме «А вот еще и такие бывают люди».

А «такие люди» в это время тихо недоумевали, с чего это вдруг они так исполнительно подыгрывают незаметно соткавшемуся и почему-то неизбежному сценарию. (Этот гипноз продолжался еще много лет.)

– А кто это – Костя? – спросил я Лёву, когда другие гости ушли.

– Это такой детский писатель, Сергиенко.

Что-то замкнулось и вспыхнуло в моей голове: «*Константин Сергиенко?*» Мне захотелось броситься вслед ушедшим.

Но внешность писателя, воображенного мной до личного знакомства, очень легко представить: достаточно посмотреть старые (то есть молодые) фотографии Кости. На них запечатлен человек с худым лицом, а взгляд напряженный и с выражением какой-то юношеской отчаянной серьезности. Уже очень скоро два облика для меня слились, совпали. Это был, конечно, тот же человек, только замаскировавшийся. И не очень удачно.

Еще скорее подтвердилось, что Костя не только культовый автор, но и, так сказать, культовый человек. Как всякий подлинный писатель, он буквально заражал окружающее пространство своей литературой. Приближаясь к нему, люди

сразу попадали в сеть особых отношений, которые были вполне реальны и вместе с тем совершенно литературны. При этом все стремительно молодели – согласно профессиональной специализации автора.

Есть, вероятно, два типа писателей: наблюдатели и режиссеры. Костя был скорее режиссером (что, впрочем, не исключает наблюдательности). Я не хочу сказать, что ты попадал в готовый, уже написанный сценарий. Вовсе нет. Действовала скорее обстановка, атмосфера: именно она подсказывала решение, удачное для общей композиции.

…Был один замечательный момент, когда соединились два сценария и два режиссерских метода. Только что вышел на экраны фильм Германа «Мой друг Иван Лапшин», все его сразу посмотрели, но мнения о нем разделились. Одни говорили: «Гениально», другие: «Сделано хорошо, но начинка-то – с гнильцой!» Споры продолжались из недели в неделю, и люди на наших «понедельниках» (журфиксах) наскакивали друг на друга как заведенные. Костя слушал, помалкивал, хмыкал. А когда разговор уже начал превращаться в заезженную пластинку, сделал такую штуку: привел на «понедельник» самого Ивана Лапшина (то есть актера Болтнева). После чего о фильме больше ни разу не заговаривали.

Далеко не сразу прояснился очень тонкий, почти паутинный характер Костиного режиссерского метода. Полное отсутствие прямых указаний исключало возможность бунта. То есть бунты, конечно, случались (и нередко), но все задним числом и, в общем, безрезультатно. Кукловод из Кости был так себе, на любительском уровне; наверное, поэтому все с такой охотой подхватывали его игру. В нем не было ничего угрожающего, мефистофельского. Он, собственно, и не был режиссером по преимуществу. Скорее главой (и одновременно тотемом) небольшого племени, клана, – составного и текучего. Компания отстаивалась постепенно. Всегда было полно какой-то непредусмотренной молодежи, заявлявшейся на халяву, нервной и с претензиями. Связи постоянно испытывались на разрыв; может, потому и оказались такими прочными. В конце концов соединились люди очень разные, даже по возрасту, как и полагается в настоящем клане.

Основную группу я впервые наблюдал в переходе через Садовое кольцо, что у Курского вокзала. Они куда-то неслись, обгоняя друг друга. Ни на секунду не смешивались с общим потоком людей, выделяясь стремительностью движений, инородностью лиц и действуя как будто в другом измерении.

Впереди летела высокая красавица с крупными светлыми кудрями вразлет и лентой через лоб, как у средневекового ремесленника. (Имени не вспомню; она потом мелькнула еще раз и исчезла навсегда.) Все вместе – как мгновенный кадр из западного фильма.

Таких кадров постепенно набралось на полнометражное полотно, а их принадлежность очень скоро стала отечественной. Но осталось впечатление, что пленка крутится быстрее обычного. Даже сидя за столом, люди отчасти бегут. (Не забуду, как два Костиных приятеля, Павлов и Агроскин, ворвались в квартиру Файбисовича с жареной уткой на противне – и на такой скорости, что после торможения утка не удержалась на месте и продолжила движение по инерции – уже в одиночестве – по полу кухни – оставляя широкий жирный след.)

Это впечатление отчасти внутреннее: учащенное сердцебиение; карнавальная смута; лихорадочное и томительное оживление, сходное с тем, что бывает в период белых ночей. Скоростная волна, зыбкость, светотеневой промельк – все это Костина природная стихия. Его почти постоянная нервная повадка даже настораживала: ты видел одного человека, а действовал совсем другой, и между ними как будто не было постоянной связи. Была какая-то хрупкость – почти невероятная для человека такой комплекции. Сама его плотность казалась непрочной, как дымовая завеса.

В Костином облике, если приглядеться, замечалось что-то тревожно несоразмерное: не соответствующее размерам. Крупному и плотному человеку положено быть спокойным и осанистым. Костя был, что называется, хорошего телосложения: высокий, широкий в кости, тренированный. Но не осанистый. И совсем не спокойный. Иногда, правда, для деловых нужд или нового знакомства он облачался в некоторую солидность, но она на нем не держалась. И, по-моему, никого не обманывала.

Как глава клана Костя заботился о быте, не забывая о ритуале. Кроме своего основного имени многие получали второе, *тотемное*: Кролик, Медведь, Барсик. Практиковался широкомасштабный и разветвленный обряд инициации. Заведомо неравноценные обмены. Или, наоборот, бессмысленно равноценные. Зачем-то он обменял свой серый свитер на мой серый свитер. Мой был ему мал, мне его велик. Просто нужно было продемонстрировать Равнодушие-К-Вещам.

Ритуал был единым в своей основе (обращенное в некий обряд Несчастье), но очень изменчивым в области форм, – то есть совсем не формальным. Пожалуй, единственной твердой формой

стали так называемые «пасквили»: небольшие пьески, карикатурные персонажи которых носили имена реальных людей – предполагаемых слушателей. Здесь мелькающий и неожиданно вспыхивающий праздник, в который Костя обращал наши будни, получал наконец свой регламент: в определенный день произойдет определенное событие – будет прочитан новый пасквиль. Таких дней было в году несколько; а частью обязательной программы пасквили становились в те специальные праздничные дни, которые Костя сам придумал и ввел в наш обиход. Один из них – Валентинов день – сейчас уже признан и празднуется всенародно. Другой, 19 октября, пока отмечают только пушкинисты.

Приближается праздник, значит, услышим новый пасквиль. Во всем можно было сомневаться, но не в этом. В Косте был, мне кажется, солидный запас добросовестности, только расходовался нетривиально. К своему как бы несерьезному начинанию он относился с редким усердием и на моей памяти ни разу не подвел аудиторию.

Можно было не сомневаться и в том, что пасквиль будет замечательным. Костин литературный дар, легкий и обаятельный, получал здесь какой-то дополнительный резерв бытовой пародии, домашней иронии. А возможно – еще одну степень свободы.

Литературная механика пасквилей на самом деле достаточно сложна и имеет мало общего с привычным капустником. Это, собственно, буффонада, площадной театр масок, перенесенный в квартирные условия. Условные персонажи помещены в обстоятельства, намекающие на реальные – и совсем недавние – события. К событиям подставляется театральное кривое зеркальце, и в нем происходят ровно те же метаморфозы, что и с персонажами: какой-то частный, теневой эпизод превращается в яркий и откровенный балаган. При этом реальные события постоянно просвечивают сквозь абсурдные повороты пасквильного сюжета, что, конечно, дает замечательный комический эффект.

Пожалуй, не только комический. Все вообще не так просто. Еще Николай Евреинов придумал «театр для себя» как психотерапевтическое подспорье для групповых взаимоотношений: он полагал, что выведенный на свет и театрализованный конфликт – это конфликт уже прожитый, *снятый*. Думаю, что-то подобное происходило и с нами, только обходилось без «теорий» (до которых Костя был не большой охотник). Потому и не осознавалось в свое время. Осознается только сейчас, и некоторые пасквили читаешь с очень странным чувством – смешанным и беспокойным. Но и над самой жизнью,

что шла вокруг Кости, как будто немного – и начерно – поработал драматург. Она была сделана из другого материала, более цветного и яркого (а иногда как бы мишурного); она сценична и отчетливо разбита на эпизоды.

Костя очень хорошо знал Москву, любил долгие пешие прогулки в одиночестве или вдвоем, втроем. Мы охотно составляли ему компанию. Тогда наши сумки на время прибавляли в весе: по бутылке вина на брата (и сестру). Нужно было забраться в самый дальний угол непроходного двора, да так, чтобы не просматриваться из верхних окон. И тут легко было просчитаться.

…В районе Арбата обнаружилась удобная лавочка за мусорными контейнерами. Погода была самая благожелательная: теплая ранняя осень в редких облаках. После первых глотков вкруговую разговор сразу принял верное направление.

Мы, к счастью, успели опорожнить и зашвырнуть под лавку первую бутылку, когда в нескольких шагах от нас с визгом затормозила милицейская машина. Из нее вылезли два человека в форме, двинулись к нам. А может, не к нам: идут еле-еле, смотрят в сторону, потягиваются. Нет, все-таки к нам. «Распиваем?» – «Почему распиваем? Просто сидим». – «А бутылка откуда?» – «Какая бутылка?» Порожняя тара лежала тихо и впрямую на нас не заявляла. Доказательная база отсутствовала.

«Документы есть?» Я потянулся за паспортом, но вовремя заметил, что Костя с обдуманной неторопливостью протягивает союзный билет. Это было правильным решением. Дядьки сразу как-то сдулись, потускнели. Настоящего развлечения не получалось, но они для порядка продолжали гнуть свою линию: «Что ж это вы – приличные люди, а сидите на помойке, распиваете». – «Не распиваем». – «Приличные вроде люди, а сидите на помойке…» Ладно, сидим на помойке, но ведь это не запрещено?

Мое внимание раздваивалось вслед за чувством опасности: у него был и второй источник. Все это время Галя раскачивалась на своих юниорских ногах, надувая губки, играя глазами. Ситуация ее страшно забавляла, и она, как я с ужасом понял, готовилась принять в ней живое участие: завести с дядьками искрометный разговор в присущей ей манере. Само ее раскачивание походило на то, что предваряет прыжок под крутящуюся дворовую веревку. Наши страшные взгляды ее на время задержали, а за это время машина уехала.

Костя был среди нас единственным «настоящим» писателем –

членом СП. Правда, свой членский билет – а заодно и паспорт – он терял с частотой, которая всерьез заинтересовала бы психоаналитика. Но удостоверение члена Литфонда почему-то не терял. (А когда все же потерял, это было таким *звонком*, на который сразу отозвались сирены «скорой помощи».)

Для входа в ЦДЛ ему никаких удостоверений не требовалось. Костя был там своим человеком, и его, как Остапа Бендера, любили все буфетчицы, официантки и даже некоторые дамы из администрации (пышные фигуры, сложные прически). Это оказалось очень кстати, когда пришел сухой закон, выпить стало негде и нечего. А ЦДЛ жил, как прежде, и веяния времени его не касались.

Для меня посещение этого клуба каждый раз было испытанием. Когда видишь сотню писателей одновременно, да еще в нетрезвом состоянии, впечатление составляется довольно мрачное. В первое мое посещение Дома мы сидели с Костей в «цветном» буфете, где стены изрисованы шаржами и исписаны короткими стишками. В углу, образовав собой живую крепость, заседала расширенная редколлегия какого-то «почвенного» журнала. Вид у людей был такой, как будто они действительно только что вылезли из родной почвы. Порхали слова-паразиты: «жид», «жиды», «жидовский». Скоро обнаружилось, что и в этих товарищах нет полного согласья, они пошли врукопашную поверх стола, потом стали махаться тяжеленными табуретками.

Были еще какие-то постоянные персонажи, завсегдатаи, бродящие от столика к столику и подсаживающиеся к знакомым (и незнакомым). Костя их почему-то привечал, может, из-за любви к любым бездомным существам. Помню вечер, когда один из таких *бродячих* подсаживался к нам дважды – плюхался на свободный стул и просил купить ему бутылку. Первую бутылку он отрабатывал как надо: «Лучшие наши писатели – Шергин, Коваль, Сергиенко…» Но со второго захода та же тема развернулась иначе и достаточно неожиданно.

– Вы, конечно, неплохие писатели. Но вы – компрадорская литература. Вы сотрудничаете с оккупантами.

– И кто же оккупанты? – спросил я, хотя ответ знал заранее. Человек взглянул на меня и усмехнулся: «Да вы, например».

Я попросил объяснить, но объяснение вышло довольно путаное: что-то про Христа и почему-то про обрезание. Даже Костя был поражен, а уж он-то всего навидался.

Однажды подсел к нам невысокий, худой, опасный человек. Его непростая жизнь, что называется, наложила свой отпечаток: какое-то второе лицо успело нарасти поверх первого.

– Правильно ли мне сказали, что здесь сидит писатель Сергиенко, автор знаменитого «Оврага»? – Человек быстрым профессиональным движением плеснул вина в пустой фужер и сразу, не дожидаясь ответа, сделал большой глоток. Но отшивать его никто не собирался. Костя смотрел на странного человека внимательно и немного недоуменно:

– Сережа, а вы меня не помните?

От такого битого жизнью человека трудно ожидать, что он вдруг растеряется, и это, кажется, произошло. Но даже я много о нем слышал – о Сергее Чудакове, поэте, московском приятеле Бродского и адресате знаменитого стихотворения «На смерть друга» («Имяреку, тебе…»). Асаркан потом подтвердил мои сведения в очередной открытке: «Сережа Ч. – не *некий*, а очень даже какой. Прочитав в рукописи Бахтина, напечатал в «Театре» статью (о постановке Брехта) со всеми применениями термина *карнавальность*, какие мог придумать, и очень (на короткий срок) прославился. Потом прошел слух, что он умер, заснув и замерзнув в телефонной будке». (По дате письма – 19. 06. 88 – можно примерно датировать и событие: весна 1988-го.) Слух о смерти оказался ложным, точнее – преувеличенным. И опровергнут был не сразу, что тоже характерно.

Костя знал эту ленинградскую компанию – «ахматовские сироты» и их приятели, а в шестидесятых годах даже каким-то боком в нее входил. Неизвестно, правда, на каких ролях. Мои знакомые, имевшие к той компании отношение, его хорошо помнили. Как-то на «понедельнике» столкнулись Костя и мандельштамовед Саша Морозов, очень друг другу обрадовались. «Чем ты занимаешься?» – спросил Саша. Костя, преодолевая неловкость, немного надулся: «Занимаюсь литературой». Саша очень оживился: «Русской или зарубежной?» – «Да нет, – еще больше смутился Костя, – я сам пишу». Саша даже не смог скрыть разочарования.

Та компания явно не отличалась благодушием. Нравы были жесткие, мужские. Костю они, кажется, как-то прищемили – крепко и на всю жизнь.

Одну сцену в ЦДЛ я, к счастью, пропустил и знаю ее только в пересказе. Вернувшийся из первой поездки в Америку Рейн проходит мимо Костиного столика, бросает на ходу: «Привет тебе от Бобышева». – «Почему не от Бродского?» – кричит ему вслед Костя, уже сильно нетрезвый. «А он тебя не помнит», – говорит Рейн, не оборачиваясь.

Тут все фигуранты хороши и даже стоят друг друга. И Рейн с

его театральными эффектами, и Костя, сразу подхвативший комедию с репликами на публику. Легко поверить и в короткую память И. А., но почему-то невозможно представить какой-то специальный разговор на эту тему: «А помнишь ли ты Костю Сергиенко?» – «Нет, такого не помню».

Когда этот Дом в очередной раз у кого-то отвоевывали, его неоднократно называли в печати «очагом духовности». И этому есть подтверждения: ЦДЛ отчасти опровергает законы материального мира. Когда, например, после очередного чтения *часть* слушателей приглашают в буфет, то часть всегда оказывается больше целого.

Теперь там, говорят, нормальный, пристойный ресторан. Но я не верю. Не может так сразу стать нормальным и пристойным место, где столько поколений советских писателей делились друг с другом самым сокровенным.

В начале девяносто первого года ресторан ЦДЛ был уже в полном запустении. Мы сидели у оконного витража; нижняя его часть была затянута грязной тряпкой, но все равно сильно дуло. На столике не было лампы, а в зале полутемно, неуютно и как-то пустынно, хотя почти все места заняты. Но кем! Физиономии почти уголовные. Костя печально озирался по сторонам: кончается место! кончается жизнь!

Он так и не смог найти себе другое пристанище. Может, и не хотел.

Есть люди, буквально зачарованные несчастьем. Они видят в нем какую-то драгоценность. Если этого не учитывать, Костино отношение к собственному быту может вызвать недоумение. Он загонял себя в самый дальний угол, в какую-то «коробку», собачью клетку, чужую хибару, где только паутина да раскладушка, а все завидовали его вольности и безбытности.

«Про кого ни прочтешь, – как ужасна была их жизнь», – говорил Костя, разумея великих поэтов, художников. И его человеческая незаурядность даже это романтическое клише перекраивала по-своему. Изо всех сил он старался задержать несчастье в его первой, еще творческой стадии: открытости, внезапности. Не позволял ему выродиться в уныние и рутину, обрывал прежнюю, уже коснеющую, становящуюся привычной неудачу, чтобы закрутить новую – только что полученную и совсем свежую.

И сейчас я думаю, что вся его режиссура, все замысловатые и подчас странные игры с людьми преследовали одну дальнюю и почти неосознанную цель: зачаровать своего спутника, увести его,

а потом разбудить над обрывом, оврагом, над пропастью во ржи и сказать: смотри!

Иногда казалось, что это просто – «чистая душа» и, смущаясь своей простоты, он сам себя накручивает и заводит. Писал «Ксению», обливаясь слезами. Очарованный странник, одержимый какой-то мукой; тонкой болью, сокрушительной жалостью. Как будто понявший однажды то, с чем уже не может смириться. А то казалось: потерянный человек, скрупулезно обставляющий эту потерянность разными невеселыми ужимками: то старосветской манерностью, то детсадовскими прибаутками.

В нем жили два разных человека (что не так уж много, бывает и более густонаселенное сознание). Но эта разность постоянно увеличивалась. Один все сильнее настаивал на привязанности и требовательной отзывчивости; другой все чаще выпадал из общего времени, не глубоко, а *глухо* задумывался, прислушиваясь к своим внутренним часам: сколько там еще осталось?

И вот настали дни, когда эти два человека разошлись окончательно.

На отпевании подошел Сережа Гандлевский, сказал, что никогда не видел столько красавиц одновременно. «Видно, что покойник был женолюб», – заключил он. Заключение как будто верное, но есть в нем какая-то брутальность, а в Костином отношении к женщинам ее не было вовсе.

…Шли мы однажды по улице. Костя был, как это все чаще случалось, в подавленном состоянии. Мимо прошли две девушки, Костя машинально оглянулся, проводил их взглядом.

– Боже мой, – сказал он вдруг, – неужели и со мной это когда-нибудь случится?

– Что «это»?

– Неужели мне все это, – он кивнул в сторону удаляющихся девушек, – станет безразлично? Перестану любоваться ими, престану влюбляться… Неужели это произойдет? Нет, что угодно – только не это.

В его голосе было настоящее отчаяние, совершенно необъяснимое. Он как будто заклинал небо. Похоже, заклинание было услышано.

Первый читатель

Стыдно признаваться, но о всякого рода субботниках сохранились самые лучшие воспоминания. Может быть, потому, что проходили они только в полевых условиях. Подвозят тебя на автобусе к большому подмосковному полю и теплого, сонного высаживают. Время года – поздняя весна, ранняя осень. Слегка прохладно, но солнечно. Ласковый воздух, запахи земли и листвы. Сапогом выбиваешь из почвы громадный турнепс (ага, все-таки осень), потом перекидываешь его в большие кучи.

Вдалеке замечается оживление. Два активиста быстро передвигаются от участка к участку, ненадолго группируя вокруг себя землеробов. В движениях собранность и нервная деловитость, посещающие их только в подобных обстоятельствах. «Женщины по полтора, мужики по два – ты не против?» Я не против.

Потом те же двое разжигают костер, вокруг костра раскладываются газеты, а уж там бутерброды с сыром, колбасой (случалось, и с ветчиной), вареные яйца, огурцы свежие и соленые… Приятная и непривычная мускульная усталость… Первый глоток на свежем воздухе…

Уезжая, всегда кого-то не могли досчитаться. Сердились, гудели.

Но в тот раз (дело было в конце семидесятых) мы рыли какие-то ямы перед церковью в Больших Вяземах. Я рыл свою отдельную яму и – если смотреть со стороны – постепенно уходил под землю. Со стороны на меня смотрел Вольфганг Вольфгангович, реставратор из высшей лиги, таких в нашей конторе было всего трое. От двух других Вольфганга Вольфганговича отличали брезгливое вольномыслие и широта интересов. В «Новом мире» когда-то чуть было не прошла его статья, пришлось рассыпать набор. Мы никогда не разговаривали, только здоровались. Со стороны он был мне интересен. Мне вообще нравятся резкие люди, оригиналы.

Упираясь в дерн толстыми ногами, Вольфганг Вольфгангович рассматривал меня сквозь очки, как взрослый посетитель зоопарка разглядывает не слишком экзотического зверька, вроде лисицы. Я рыл яму и поглядывал на него выжидательно.

– Вы знаете, Миша, – заговорил наконец Вольфганг Вольфгангович, – такая вот интересная история: какой-то ваш однофамилец и даже тезка заполонил своими невразумительными стихами всю эмигрантскую периодику. Что

бы это значило? Вы что-нибудь слышали?

Удар был нанесен неожиданно. «Заполонил» – это была, разумеется, фигура речи. Так, несколько публикаций. Открещиваться от них (при случае) я не собирался, но осведомленность сослуживцев в мои планы тоже не входила. Я неопределенно пошевелил плечами, недоуменно – бровями, мол, чего на свете не бывает. Разговор закончился, не начавшись.

Чего не скажешь о внутреннем монологе. Это событие, поймите, не было вполне ординарным. Публикации, о которых так запросто заговорил В. В., существовали в ином измерении, в каком-то другом мире, едва ли существующем. В реальности стихи читались на кухне и по листочку передавались нескольким знакомым. В тридцать лет я впервые увидел *читателя*.

Вскоре ямы были выкопаны, началась заключительная часть трудового праздника. «Между первой и второй», – затараторили, оживленно гримасничая, активисты, и Аркаша Молчанов, монархист, гаркнул свой коронный тост: «За Реставрацию!» После третьей рюмки дышалось вольнее, а согласованность действий стала нарушаться. Я сделал шаг по направлению к Вольфгангу Вольфганговичу:

– А почему, скажите, вы считаете эти стихи невразумительными?

– Так это все-таки ваши произведения, – холодно констатировал В. В. – Я, собственно, был уверен, что таких совпадений не бывает.

Подумал секунду и добавил: «Принесите то, что сейчас пишете».

Я принес, разумеется.

Учитель без ученика

– Меня беспокоит состояние вашей библиотеки. Два Андрея Платонова почему-то. Хотите, я подарю вам третьего? – Павел Павлович небрежно оглядывал корешки, и мне казалось, что под его взглядом книги готовы спрятаться друг за друга. – Ага, Лихачев. Кстати, на вашем дне рождения я понял, почему Виктора прозвали Цицероном. Действительно: вошел и говорит, говорит, размахивает книжечкой Лихачева. Этот Лихачев после смерти Бахтина тоже говорит не переставая, интервью во всех газетах, страшно много глупостей… А вот вам от меня подарок – самый лучший сборник Пастернака. Лучший, потому что маленький. Вы, кстати, знаете, что я с вами в ссоре? Не знаете? Никто не знает, даже не догадывается.

Он позвонил днем, сказал, что заедет ненадолго для важного разговора и чтобы я встретил его у подъезда. По пути от такси до лифта сообщил, что ушибся и теперь у него в глазу что-то вроде бельма, но об этом не надо спрашивать и даже смотреть не надо. Я все-таки посмотрел. По виду простое кровоизлияние.

– Есть старинный анекдот о том, как слепнущий Джойс диктует своему секретарю, будущему нобелевскому лауреату, и вдруг спрашивает: «Там, за углом, пряники продавались, ты себе купил?» Тот записывает. «Записал, дальше». – «Да нет, я спрашиваю: ты *себе* пряники купил?» – «Записал, дальше». – «Да я… А-а, черт, пусть так и останется». Джойс довольно поздно прочел «Алису в Зазеркалье»: ого, оказывается, то, что он делает, уже сделано, может, даже лучше. Там нет ни одного слова, которое не было бы перекорежено и обыграно двадцать раз. И это было бы весело… Но это не весело. Читать тяжело, чтения вслух хватает на полчаса, не больше. Больше не выдерживает слушатель. Две-три странички. Но это новый, совершенно новый язык… Как они работают? Я говорю сейчас не о Джойсе и Беккете, а об остальных. Они наговаривают. Или стучат на машинке по пять-шесть страниц в день. И если стучать так несколько недель, то что-то начинает возвращаться и проясняться. Но по пять страниц в день я мог выстукивать только в шестьдесят втором году. А теперь страничку-две, да и то через день. Это очень хорошее терапевтическое средство. Но как-то все идет… как в колодец. И в ответ ни звука. И тут приходит в голову то, против чего я боролся всю жизнь: что шедевр становится шедевром только тогда, когда его признают шедевром. Нет! Шедевр существует сам по себе! Но когда ты не знаешь, кому всунуть очередную сотню страниц…

Тут зазвонил телефон. Договорив, я пошел обратно в кухню, неся заготовленную фразу так, чтобы ее уже нельзя было сбить или проглотить: «Вы считаете, что это не находит никакого отклика?»

– Считаю.

– Но как же? Но… Но хотя бы Иван, переписывающий ваши тексты подряд в свою тетрадку?

– Подряд? Так это еще хуже! Это новелла Гаршина «Красный цветок». Человек с манией величия безнадежен, но еще безнадежней, куда *более* безнадежен тот, кто верит в чужую манию величия. Вот Зиник не прижился у Айхенвальдов, его там не приняли. А почему? Говорят: «надоела маниакальность!» Нам не нужны те, кто верит в чужую манию, нам нужны те, кто верит в наше величие. А что, кстати, его последнее письмо (вы мне показывали)? Что вы ему ответили?

– А что на это можно *ответить*? Пишу о своем.

– Да-а. Только это и остается – писать о своем. А как вы отвечаете? Письмом на письмо?

– Нет, в своем ритме.

– У него там в кусках и цитатах достаточное количество чтения. На всю жизнь хватит. Но это даже неважно, потому что он сразу сделал главный вывод.

Павел Павлович втянул щеки, словно зажав себе рот, и полминуты молчал, не решаясь так сразу выдать тайну.

– Вывод такой: «я тоже так умею». Он очень рано понял, что писать интереснее, чем читать… Но я опять повторяю прежнюю ошибку. Я говорю сам, а надо слушать вас. Вот у меня тут даже на листочке записано: «Пусть говорит Миша».

– Это был бы кошмарный вечер.

Но когда я что-то все же произносил, он действительно слушал очень внимательно. И при этом делал какие-то зачаточные движения: округло разводил руками. Я не сразу понял, что он невольно копирует *мои* движения. Это я, оказывается, так жестикулирую.

– Нужно, чтобы говорили вы. Это мне нужно, для меня. У нас нет общих тем, я же про вас ничего не знаю. У вас своя жизнь, а я вынужден наскребать темы, и опять получается разговор с воображаемым собеседником. Но надо же хоть иногда выговаривать кому-то эту ерунду… Я, кажется, оправдываюсь.

Поразительно, что это был четверг, приемный день (журфикс), но никого не было, никаких гостей. Небывалый случай. Павел Павлович уже вышел в прихожую, стал надевать пальто, но тут появился Иван с тремя бутылками «Хванчкары». И ПП, конечно, задержался, мы его уговорили. Пошли обратно в

кухню.

Иван – чтобы в дальнейшем не было разночтений – сразу сообщил, что у него запой. А может, и не запой, он сам еще не понял. ПП оживился.

– Ну, здорово! Запой! А что же вы так тихо сидите? «Запой» – это звучит гордо. Говорите прямо, не стесняйтесь. Ну, огорошьте нас чем-нибудь, скажите «Набоков – гад» или «Олеша – гад». Беда в том, что все Мишины собеседники – добрые, спокойные люди, не колючие, не резкие. Предпочитают мирные рассуждения о Набокове, о *тексте*. Да! Кстати! Почему вы сегодня совсем не произносите слово «текст»? Вы вообще очень переменились, я вас даже не сразу узнал. Вот у вас запой, а что вы пьете, когда запой? Водку? Ах, вино! Но тогда можно считать, что у Асаркана чайный запой или, например, кофейный, когда он за день выпивает тридцать шесть чашечек черного кофе. Вы извините, у меня сегодня веселое настроение, а это бывает раз в четыре года, когда я просыпаюсь без шила в боку. Я ваши слова не воспринимаю всерьез. Сочувствия тут не ждите.

Я машинально поглядывал на свое отражение в оконном стекле и вдруг заметил, что глаза лучатся нездешним фосфорическим светом. Вино начинало действовать, я не сразу понял, что отражающееся лицо совпало с огнем двух далеких окон. Сидящий на перекидной лавке Иван смотрит на ПП почти такими же глазами, но тот этого не замечает или не хочет замечать. Он говорит:

– Мы совсем усыпили Хванчкару. Но я все равно благодарен ему, этому новому слушателю, за то, что смог проговорить кучу старых анекдотов. Их даже Миша слышал уже десять раз. Но вот вы прочитали эту книгу, и что? Захотелось вам после нее бросить писать ваши стихи?

– Но я не пишу стихов.

– Так что вы там поняли? Как вы улавливали все намеки, аллюзии, контаминации?

– Конечно, все это ушло. Остался текст.

– Ну да, разумеется. Остался «текст».

– Остались слова. И если сначала они кажутся жутко смешными, кажутся пародийными, то на следующем круге к ним уже относишься серьезно, и так далее, и наконец они приобретают свое настоящее значение.

Как всегда, что-то самое важное было сказано, когда я выходил в туалет. Так бывало и при другом составе участников. Мирная беседа не складывалась, прямого разговора не получалось, главные фразы произносились походя, вскользь и предназначались как будто не мне. Даже такая: «Я считал, что

Миша просто качается на волнах, по воле волн, но вот начинает казаться, что в этом есть какая-то *продуктивность*». Или такая: «На этом прозаике я поставил крест».

И в этот раз, когда меня не было в кухне, Иван наконец не выдержал, что-то сказал, крикнул. ПП теперь не поддразнивал его, а говорил мрачно и увещевательно:

– Не надо. Не надо так расстраиваться. Вы петь умеете? Нет? Тогда пейте. Делайте что-нибудь. Главное, не повторяйте чужих ошибок. Или вы думаете, что очень весело всю жизнь изучать английскую литературу? Нет. Нет. Не очень весело. Вот Миша, смотрите: железобетонный человек, человек двадцать первого века. Берите пример с него. Такой бездонный колодец: плюнешь или кинешь пятьсот пять страниц – и летит, летит… Ни звука.

– Не в этом дело. И вообще, разговор не о том. Просто я дрожу, как мокрый пес на ветру.

Тут кто-то посмотрел на часы, оказалось, уже двенадцать. А ведь я был предупрежден, что крайний срок полдесятого, и где мы сейчас найдем такси? Павел Павлович не разрешил нам искать попутные машины, у Курского была очередь на час, и он, единственный в этой очереди, простоял молча, не шевелясь и не прихлопывая для согревания. Мы приплясывали рядом и тоже молчали. Машина наконец подошла, он захлопнул дверцу и на прощание улыбнулся нам из темноты.

– Дети и классики в выражениях не стесняются, – печально сказал Иван. – Этим я и утешался, когда меня назвали Хванчкарой. Ясно одно: я опять весь вечер хамил. Ну, ты прав, прав – не хамил. Но вопросы задавал, хотел пополнить свое образование.

Вопросы действительно задать не удавалось, они не включались в разговор. Даже невинные, вроде: «Что означает эта английская фраза?»

– Ох, если бы и я мог спросить и получить ответ. Если бы все было так просто.

– А чья это фраза: «Если я в ваших глазах как гласные в донесении восточного визиря, то нам скоро станет неинтересно разговаривать по телефону»?

– Чья фраза? А чья фраза «все люди братья, я – кузен»?

– Как «чья»? Айхенвальда.

– А вот и не Айхенвальда, а из русско-персидского разговорника.

(Интересно все же: откуда *они* все это знали?)

– Да ты их перебивай, перебивай, – втолковывал мне Зиник

(пока не уехал). – Им это ничего. На самом деле их *надо* перебивать. Кто такие *они*, стало ясно не сразу. Зиник как-то уклонялся от прямых объяснений, а в его рассказах смутно шевелилась толпа. Потом, правда, оказывалось, что по-разному обозначенные персонажи имеют в основе один прототип и все нужно делить на три. («Один великий человек», «Марсель Пруст журнала „Театр“» – это все Вадим Гаевский. «Веселый пенсионер», «человек с палочкой» и «один такой русский Джойс» – Улитин.) Но толпа почему-то не редела. На еженедельных журфиксах Зиника, «четвергах», каждый раз бывали новые люди. Там я увидел сначала Асаркана, потом – с некоторым временным разрывом – Айхенвальда. Значит, это и есть *они*? Или кто-то, стоящий за ними? Организация?

– Главного человека они держат в тени, – сказал Лёня Иоффе. – Есть там такой Устен Малапагин – это, конечно, псевдоним, а зовут его как будто Павел Павлович. Это – ну, как сказать? Это такой русский Джойс.

И вот проходит месяц-другой, мы с Лёней приходим к Зинику. Открывает Нина, из передней слышно, как в комнате кто-то читает стихи, сильно скандируя, разделяя длинные слова на несколько коротких со своим ударением («блага – дарю»), проглатывая безударные. Появляется таинственный Зиник, манит в комнату. Человек, читавший стихи, обернулся и посмотрел на нас – весело и с любопытством.

Его манеру чтения стихов можно назвать «камерное скандирование»: внутреннее напряжение как будто рассчитано на большую аудиторию, но не выведено голосом, приглушено. Второе значение слова «камерный» объясняет, вероятно, и происхождение такой манеры. Айхенвальд рассказывал об их первом знакомстве в 143-й камере Таганской тюрьмы. ПП учил его английскому языку, читая стихи Шелли и Байрона. Читал и коллажи из собственных текстов.

Мне кажется, что это скандирование, это напряжение как-то вошли в ритм его прозы, а потом – в стиль разговора. Думаю, что именно так, а не в обратном порядке.

– Мы же зубры, – говорил ПП. – Ведь сколько лет мы читаем стихи и заучиваем наизусть. Уже забывать стали. Не мог однажды вспомнить: «Если ты спокоен, не растерян» – а как дальше? Вот, смотрите, перевод, а какая поэзия! Многие переводы Байрона лучше самого Байрона. Я однажды обещал Айхенвальду сделать весь подстрочник «Сирано», но ничего у меня не вышло, только несколько кусков перевел. Пришлось ему обращаться к другому

знатоку. Все тогда удивлялись: как так – без заказа, без договора – перевел всю пьесу? А вот так – без заказа, по вдохновению, в одну ночь! Захочу – переведу завтра «Гамлета» – и тоже без договора.

…Наверное, в молодые годы и надо заниматься чем-то таким – литературоведением, математикой. Чтобы разговор шел на другом, более *определенном* уровне. Как наши ифлийские споры о том, кто написал «Боже, царя храни» – Пушкин или Жуковский? У обоих есть в собрании сочинений. А оказалось – совместное творчество, и не только эти двое принимали участие. Но первая строка, конечно, Жуковского. Потом были другие открытия. «Всегда так будет, как бывало, / Таков издревле белый свет: / Ученых много, умных мало. / Знакомых тьма, а друга нет». Пушкин? Оказалось, не Пушкин, а Петров. Пушкин просто переписал на память, было в его бумагах. Или: «Залог достойнее тебя». Что это значит – «достойнее тебя»?

…Я когда-то презирал стихи типа «Я вас люблю, но денег нет». Но денег действительно нет. «Вы любите ли сыр – спросили раз ханжу». Почему ханжу? Что здесь смешного? Пародия. «В саду играет детский сад» – это плохая строчка из плохого стихотворения. Но ведь он действительно играет целый день под моим окном, мешает работать. Или: «Улица корчится безъязыкая». Но она действительно, она же действительно корчится. И это что-то… оформляя-ет…

Последнее слово он как-то кисло потянул, подняв брови и помаргивая. Секунду назад глаза были прищуренные, желтые, нетрезвые, недобрые. Но вот одно движение бровей – и он смотрит на меня ясно и пристально, щеки втянуты, усы насмешливо подрагивают.

– Однажды смогисты пришли к сыну великого поэта, читали стихи, он очень хвалил. А когда прощались, вдруг сказал: «Но вы знаете, я ведь в стихах ни бум-бум». Они очень расстроились. Они были еще очень молоды и не понимали, что ведь никто в стихах ни бум-бум. Существует четырнадцать родов поэзии, и каждый имеет право на существование. Конечно, вы должны продолжать писать, раз это существует, и есть два человека, которым это нравится. Но учтите: я не читатель стихов. Я не люблю стихи, над которыми нельзя поиздеваться. Хм, я это сказал совсем как Асаркан!

А когда мы шли к такси, он вдруг наклонился в мою сторону: «Не обижайтесь на двадцать восьмую страницу. Помните, что никто в стихах ни бум-бум. И никто ни в чем ни бум-бум. Разговора о стихах больше не будет».

Понятно, что подаренный в тот раз новый текст я начал

читать с указанной страницы и с того самого абзаца. Вот он, этот абзац: «Он не понял главного. Что каждый посильно устраивает себе свои собственные настольные книги, а поэт никогда не печатает свои стихи на машинке. За это его и любят. Это проделывают за него другие. С промежутком в 40 лет – а как же».

Я еще только начинал тогда свою службу в реставрационных мастерских, а близ Новгорода уже не первый год шли работы по восстановлению фресок церкви Спаса на Ковалеве. Реставраторы перебирали мусор и обломки сводов, находили кусочки фресок, складывали их в контурах первоначальной росписи. Трудно себе представить результаты их работы, смотреть наверняка почти не на что. Но я сейчас занимаюсь примерно тем же.

– Иностранцы – это дети, это просто дети, – говорил Морозов. – Но я тоже хочу быть ребенком! – И Павел Павлович стукнул кулаком по столу. – Я хочу быть ребенком, я хочу кричать «Король голый!». Высокие слова о России легко говорить вне России. Попробуйте, живя в России, положить их на машинку. Самые главные слова были сказаны с трибуны эсеркой Спиридоновой, когда латышские стрелки уже подтягивали артиллерию. И артиллерия-то не ахти какая – две пушки. Но на Большой театр и этого было достаточно. Две пушки, четыре снаряда… А «Наша страна» – это газета или рубрика? Я читал недавно газету «Пушкинский край», это такая газета, что – ар-р-р – мне хочется рычать. Что они носятся с этим Михайловским? Это же все-таки ссылка. Няня, няня! Как будто у него папы с мамой не было. Да, я тоже люблю эту пустыню. Эту Сахару. А вот Зиник сидит в *своей* пустыне и не понимает, почему дорогой Пал Палч не может дорогому Зинику черкнуть пару строк. А мне просто противно каждый раз писать адрес «улица Рабиновича 33», отправлять письмо в мае семьдесят пятого, чтобы оно пришло в июне семьдесят шестого, а ответ получишь вообще в 1984 году. И т. д. и ПП. Легче написать английской королеве. Или вообще покойникам – а что? – даже лучше, самые интересные собеседники… Но и в его последних письмах ничего не поймешь. Что за «боль в висках», посланная на четыре адреса? В двадцать пятый раз «приедет Мишка или нет?». Ч-черт! Они там с ума посходили со своими перемещениями из одного отделения больницы в другое. Сколько усилий для того, чтобы продолжать тянуть все то же пиво. Отъезд из Москвы не отменяет московских отношений и не решает никаких вопросов, только снимает их временно, поначалу. Жуткое там напряжение, в его письмах. В таком состоянии можно находиться раз в месяц, в год. В день

экзамена, например. Так можно провести одну какую-то ночь. Но он живет так все время! Как же так? Нужно *читать*. Сидеть и читать книги, о которых говорили всю жизнь. Язык изучать, «предков» этих изучать. Три месяца прошло – а осталось тридцать три года! Хотя это у нас время такое замедленное, а у них месяц как год… Но где *продолжение*? Почему он не напишет письмо Солу Беллоу? Или папе римскому? Не объяснит, что ему делать: чи экуменизироваться, чи нет?

Когда Павел Павлович ушел, Морозов заговорил о его прозе. Он читал, но немного и не очень понял, а как я к ней отношусь? Я сказал, что, на мой взгляд, ПП замечательный (тогда легко вылетало слово «великий», возможно, я так и выразился) писатель, но интересует его только проза, только литература, поэтому сейчас он – вот парадокс – из нее выпадает. Это у Тынянова есть что-то про новые, «совсем голые» явления, которым нужна какая-то смесь, даже неразбериха, чтобы не оказаться вне литературы. ПП что-то вроде тотема, который должны съесть ученики. И он сам это прекрасно чувствует, хлопочет не о читателях, а только об учениках, – каждого читателя пытается почти насильно сделать писателем. Но у читателей плохой аппетит. А ПП необходим русской прозе, это какая-то назревшая реформа права писания, свободный вздох самой литературы. Ему бы школу, ему бы не одного ученика, а хотя бы трех. Но я уверен, что скоро появятся его мнимые ученики: писатели, которые по всем статьям его последователи, только – вот казус – никогда его не читали.

Морозов слушал и недоверчиво качал головой.

Даже на меня вначале была некоторая надежда. ПП просил иногда что-то перепечатать или завуалированно намекал: не пора ли, мол, бросить стихи и заняться настоящим делом. Я отговаривался: «Вот же я отвечаю на ваши письма, это и есть моя проза».

Если называть письмом то, что вложено в конверт и отправлено, то – да, это были письма Павла Павловича. На деле – прозаические тексты, мотивировку которых нужно было угадать – и не ошибиться. В этом угадывании или в перепечатывании указанных кусков был намек на ученичество, на школу. Но на самом деле настоящей школой становилось общение с ним, когда подспудно вырабатывался навык смотреть на жизнь как на возможность книги. И это делало ее не такой безысходной.

Но может быть, и письма к нему были если не прозой, то ее попыткой, уроком. Я ведь учитывал, кто будет это читать.

Кажется, единственное умение, которым стоит владеть, – это умение превращаться в прах. Рассыпаться пылью, пылью ложиться на предметы. И так горько потом снова восстанавливать форму, быть кем-то. Как будто отдаешь по частям мгновенный золотой век и отдаешь его весь, до конца.

С мукой отворачиваешься от всего, на чем остановился взгляд. Если б можно было иметь единственную привязанность, – не человека даже, а позу человека или пятно света, оседлое и неизменное. Так и получается, что смотришь затылком, вцепившись сразу в такое количество вещей, что пяти жизней на них не хватит. Нет, не этого ждут от тебя. У любой задушевности прогорклый привкус. Я верю в ад наяву для тех, кто тянет больше, чем способен взять. Это может отчасти объяснить мое отношение к людям – назойливое любопытство и ложный голод общения. Я ищу свидетелей защиты или обвинения. Мне надо сличить показания их душ с тягостным молчанием собственной.

Вот так и бывает: в одно прекрасное утро просыпаешься с ощущением, что «еще не вечер». И это ощущение держится все утро. Что-то переменилось, и можно молоть ерунду, не заботясь о произведенном впечатлении. Не проза, не поза, не слова из записной книжки. Я говорю с конкретным человеком и не хочу говорить прозой. Я хочу говорить стихами, по телефону и письмом. Смело ставьте крест на этом прозаике.

Иногда я посылал ПП разные занятные выписки, например, из письма В. Соловьева Ф. Достоевскому: «Неужто так-таки ничего хорошего – истинно русского – и нельзя написать без вклейки целых строк заграничных каракулей, хотя и в скобках, но тем не менее для многих, если не для большинства, положительно непонятных. Встречать эти непонятные для нашего брата каракули и у Вас – как-то обидно». Выписка, ясное дело, с намеком: тексты самого ПП пестрели «заграничными каракулями» на разных языках. Но цитируемый корреспондент Достоевского – не знаменитый философ, а крестьянин Новгородской губернии, «смотритель топлива».

В том сочинении, что пишу сейчас, я спокойно ставлю кавычки, а в письмах избегал, чтобы не наводить – как слепого на тумбочку – на размышления разного рода смотрителей. Письма выглядели странно: «Я дважды ввел Вас в заблуждение. Во-первых, дайджест из цикуты в личном владении мне пригрезился.

Во-вторых, из майских подарков недочитанным осталось только занудство в высоком смысле…» и т. д.

Что-то подобное посылал мне Зиник, а иногда – очень редко – Иван, которому как-то удавалось включить интонацию ПП в общий набоковский строй.

> Колыбель качается над бездной. Засыпая, я вижу дедушку на дне колодца, на излете прохладного мшистого жерла, на антрацитово блестящем кружке того второго, а может, первого неба.
>
> То небо, в колодце, всегда кажется дальше от вас, если посмотреть. Оно и понятно: на глубину колодца. Даже на удвоенную глубину колодца. И там или там где-то отплясывает или бликует на срубе его панама и белая борода.
>
> Я уж знаю, что это Феодосия. Оба дедушки в парусиновых брюках и таких же туфлях. Вот что тогда носили отдыхающие на ЮБК, глядите-ка:
>
> парусиновые туфли, белённые зубным порошком! Порошок при каждом их шаге осыпался, образуя на земле белый венчик.
>
> И вот эти-то венчики (очень похожие на фотографию затмения Солнца, на Солнечную корону из энциклопедии, если б Луна имела форму подметки)
>
> эти абрисы тонкопалой крохотной ступни, пересекающие едко сверкающий
>
> на едко сверкающем плитняке
>
> от выхода ко входу
>
> к выходу
>
> свеваемые ветром
>
> Прощай, дорога на Ланжерон, прощай. Вот ты и кончилась. Как это
>
> я не заметил?
>
> Прощай, дорога на Ланжерон.
>
> 16. 8. 76.

Еще до обеденного перерыва на работу позвонила Лена – сообщить, что она и Павел Павлович ждут меня в кафе «Артистическое». Я выскочил из конторы под первые раскаты грозы, нырнул в испарения метрополитена, а вынырнул уже в дикий полосующий ливень и сразу промок насквозь, до последней нитки. Мне махнули рукой из-за углового столика. Да, тот самый столик, где мы когда-то сидели с Зиником, он рассказывал, кто и когда с кем ссорился, и это был лучший способ

забыть о нашей недавней ссоре. Неровно подсвеченный витраж с цветами, с чайкой над лирой, за витражом сплетение проводов, как водоросли в аквариуме. Лучше сесть спиной к залу и не оборачиваться, контингент уже не тот, что пятнадцать лет назад. Похожий на бегемота пьяный человек тянет стакан и ревет на весь зал: «Не надо ничего – ни столов, ни блядей, лишь бы были друзья!» Но уже через пять минут друзья ему разонравились, все разом сердито отодвинули стулья и ушли. Подходит человек с пачкой газет, хочет немного на нас заработать. Что ж, это неплохо, даже стильно: будьте любезны, чашечку кофе и свежую газету! А заодно третью бутылку шампанского и еще ветчины. И откуда такие финансовые возможности? А это мы, оказывается, допиваем то, что осталось от проданной «Истории инквизиции». Хорошая была книжка, зато когда всех торопили и почти выгоняли, нам сказали: посидите пока. Посидим пока.

Павел Павлович был так неулыбчив, словно у него не разжимались челюсти. Но одет почему-то парадно: белая рубашка с галстуком, хороший костюм. Потом все объяснилось: он собирался сделать фото для нового паспорта, но до ателье не дошел.

– Самое замечательное в сегодняшней встрече, что она произошла совершенно случайно. Думал ли я сегодня утром, что через несколько часов буду сидеть здесь? Но еще пять лет назад я звонил, и через пятнадцать минут ко мне прибывал собеседник, а теперь приходится ждать по два часа. Уже официантка спрашивала: где же ваши? Я говорю: так они же рабо-о-тают. Все эти два месяца я думал о том, кого бы вызвать, попросить сдать книги в библиотеку и передать, что данный читатель больше не будет пользоваться их услугами. Лену? Мишу? Он, конечно, будет польщен, но сочтет это предложение странным.

Шампанскому очень не везло при разливании. ПП, задумавшись, начинал делать рукой такие виражи, как будто поправлял, расставлял что-то или чем-то дирижировал.

– Жан Габен умер. Прочел перечисление его фильмов в некрологе: черт! а где же «У стен Малапаги»?

Он махнул рукой, бокал полетел на пол. «Ничего-ничего», – быстро сказал он, но так мрачно и загнанно стрельнул глазами через зал, что непонятно было, кого он успокаивает. Звук был действительно очень громкий.

– Умом мы жили и пустой усмешкой. Не знали мы, что кончим перебежкой… Нет, дальше не помню. Это Эренбург. Та-та-та-та-та ограбленная молодость моя. Ах, ч-черт! Ах, это у *него*, это у него-то ограбленная молодость? За эти два месяца у меня один раз было хорошее настроение, и мне пришла в голову идея:

позвонить Мише, подкатить такси и завалиться в «Новый мир», к Сережке Наровчатову. У меня есть кое-что в запасе, чтобы его разговорить. Только потребуется расход в шесть рублей – на фляжку коньяка для секретаря. И можно поговорить о стихах. Конечно, с Зиником интереснее было ходить по разным местам, – у него оставался известный запас наивности, в каких-то ситуациях он забывал об окружающих и поднимал хвост трубой. А тут такой чуткий интеллект.

Какой-то негромкий, но странный звук отвлекал мое внимание, мешал слушать. Он шел из дальнего зальчика, где был буфет, и откуда выходили официантки. То ли протирают стекло, то ли кто-то тихонько голосит или смеется, но похоже не на человеческий голос, а на куклу-петрушку. Но вот оттуда вынесли завернутого в белый халат щенка, и то же тявканье (ах, это было, оказывается, тявканье) послышалось из кулька.

Павел Павлович надолго замолчал, помрачнел, тыкал вилкой в последние шарики зеленого горошка, и в той же тарелке уже лежала скомканная подмокшая салфетка.

– Неправильно мы сидим за этим столиком. Неправильно. Неправильно мы об этом разговариваем. Пошли?

И еще четыре часа в непросохшей одежде, с негреющим рислингом, в гостях у другой Лены. Хозяйка дома соорудила подобие стола: табуретка, на ней длинная доска, с обеих сторон уравновешенная тяжелыми книгами, но все равно подвижная, как пропеллер. Она так и не опрокинулась, и это чудо, потому что ПП, забывшись (или нарочно?), хлопает кулаком по шаткому краю, а мы дергаемся и хватаем готовые упасть рюмки. Девушки не выдерживают и выходят в другую комнату. «Так. Мы извлекли квадратный корень. Вот видите: Лена, – уж на что веселый лоцман, но даже он стирает пот со лба».

– Выпить ли нам чаю? Или домой поехать? Но это каждый должен решать для себя сам. И он, и она, и еще кто-то, на кого мы не будем указывать пальцем.

При этом он ткнул пальцем в мою сторону. И, кажется, попал.

Каждая фраза ПП повторяется эхом в отяжелевшей голове, а из окна, от железнодорожных путей доносится другое, лающее эхо, как ауканье случайной галлюцинации. От телефонного звонка падает сердце.

– Лена не права, потому что копается в прошлом, а Миша не прав, потому что копается в будущем. Его время будет, когда нас не будет. Ничего не поделаешь. Но важно, чтобы вы извлекли уроки.

Этот внутренний ритм, постукивающий как сердце перед

припадком, и есть, наверное, извлеченный мной урок. «Да, это так, вот так». Затихает стук в висках, кончается десятичасовой монолог. Павел Павлович стоит, чуть согнувшись, заложив ногу за ногу, поставив неопорную (сломанную) ногу на мысок. Палочка чертит круги. В такой позе любуются курортным видом, но ПП стоит под аркой московского дома, за его спиной тусклая лампочка, время час ночи. В темноте можно различить, что он сморщился и выпятил губу.

– Да… Биологически исчезнуть… Это тяжело… Опанасе, наша доля туманом повита… Мы должны отстоять эту обедню. Есть обедня, мы должны ее отстоять. Устрой лишь так, чтобы Тебя отныне… недолго я… еще… благодарил. Спасибо, Миша. До свидания.

– Вы все же посылайте мне что-нибудь. И я вам что-нибудь. Глядишь, что-нибудь и получится. Поначалу кажется, что на все это нет времени. Нет времени писать, отправлять, получать, читать. Но потом оказывается, что из этого и складывается каждый день. И я как клоун, как акробат проделал все фокусы… Нужно писать какие-то фразы на полях. Твои это будут фразы или чужие – неважно. Важно, что они приносят облегчение и в конечном счете помогают жить.

Балконная дверь открыта настежь, и вся комната обращена к улице. Белеет клеенка, рубашка, белеет левкасная дверь. ПП, не беря палки, делает несколько бросков вдоль своей многоугольной комнаты, и вот на столе рислинг, две рюмочки, разговор продолжается.

– Э-э, ничего они не понимают. Понимаем только мы с вами, да и то раз в месяц или раз в год. Айхенвальд, к примеру, не понимает литературы в двух экземплярах: «Так это же можно просто сесть и писать!» А только это и нужно: сесть и писать. Я помню одного писателя, который на прекрасной писчей бумаге образца 1913 года писал, сначала под диктовку: «Я опять обманул родную мать». А потом шел в угол. Но однажды ему сказали: а теперь пиши сам. Вот ужас! КАК писать? Но я догадался: можно ведь подсмотреть из того, что было написано раньше, под диктовку. Ну, и свое что-то добавить, например: «А потом я стоял в углу». И спокойно идти в угол… Вот вы мне пишете: как я буду вам отвечать вашими словами? А ведь в этом все дело – бороться тем же оружием. Зиник это понял давно, а вы нет, и рискуете так и не понять.

…Почему-то захотелось показать одну его открытку «крокодильцу», хозяину жесткошерстного терьера. Но я подумал: ему же придется объяснять, кто такой Зиник. Поймите, я уже не

могу начинать все с начала! Конечно, ко всему можно приучить. Можно приучить зайца зажигать спички. И будет зажигать. Вот только трудно заставить его спускать воду в унитазе: шума пугается.

Темнеет. Освещение как от спички, зажженной на балконе. Свет подтек в угол буфетного зеркала. Поблескивают подстаканники. Половина лица ПП в тени, с зеленоватым подсветом. Темнеет, сыреет, только ярче и резче проступает клетчатый узор на его безрукавке.

– Ну, давайте еще выпьем вина, я не могу отпустить вас в таком состоянии. Вы Янкова знаете? Так вот у него идея, что мир можно взять в скобки. Вселенная складывается блинчиком, миры то сбегаются, то разбегаются. Откуда, спрашивается, вся эта музыка? *Кому* все это интересно наблюдать? Значит, есть Божий суд? Конечно! Он недоступен звону злата. А вы не солнечная система, вы не Бог Саваоф, вы не Юпитер из жидкого водорода, вы не Венера с ее атмосферой. И не надо принимать на свой счет шишки, которые относятся к солнечной системе и ее устройству. Это все не к вам, это к «Науке и жизни».

…Вы скоро получите письмо от моей жены, где будет сказано, что вы не бережете здоровье дорогого Пал Палыча. Это ничего. Зиник тоже получал что-то подобное и ответил очень удачно. Я теперь все на вас сваливаю, на кого ж еще ссылаться?

…Вот такими движениями я четыре года заворачивал книги за прилавком магазина «Дружба». Леонову заворачивал, но это еще ничего. А вот когда приходил Ойзерман и не узнавал, и я ему заворачивал, а он в это время беседовал со своими аспирантками, – это уже было тяжело.

…Это вам подарок. Когда-то мы делали такие подарки только Зинику. А теперь вам. Вы вышли в «первого читателя». Произошло это, разумеется, случайно. Вы просто попались под руку. Но это и ценно. Вы должны гордиться тем, что это произошло случайно.

Не то чтобы я этим гордился, но и не огорчался. Принцип «чем случайней, тем вернее» всегда казался мне правильным. Я верил в случай. А во что еще можно было верить? С ПП меня свела оказия, случайная удача. В течение двенадцати лет литература была для меня одновременно и понятием, и явлением. У явления имелись имя, отчество и фамилия. Раз-два в месяц (потом реже) меня вызывали телефонным звонком на собеседование с литературой. Обычно – по старой памяти – в кафе «Артистическое», что в проезде Художественного театра, реже в кафе «Ярославна» на Остоженке-Метростроевской или почему-то в кафе «Улыбка» («Улитка»?) у Новодевичьего

монастыря. Часто сидели втроем, с Леной Шумиловой, иногда вдвоем, и тогда я замечал, что на нас оглядываются – *обращают внимание*. Не только из-за его размашистой, аффектированной жестикуляции, но и просто с недоумением: кто такие? Отец и сын? Нет, не похоже. Кто тогда?

Павел Павлович действительно ровесник моего отца. Когда мы познакомились, ему было столько же лет, сколько сейчас мне. Он не казался особенно пожилым, но чудовищный опыт делал его человеком другого века и другого мира. «Странное впечатление человека без биографии, но с таинственной и значительной, трагической судьбой», – сказал о нем Айхенвальд. Облик ПП не совпадал с каким-то привычным типажом, не вычислялся. В моем обиходном опыте такие лица не значились. Они мелькали иногда в старых фильмах и там принадлежали каким-нибудь инженерам-спецам. Взгляд быстрый и переменчивый, лицо очень подвижное, выразительное, не то чтобы породистое, но какое-то *прежнее*. Прежней формовки, огранки. Прежней закалки. Закалка его и спасла, ее хватило еще на сорок шесть лет после того, как его выпустили умирать.

«Куда девалась ваша лихость? На Лубянке в первый раз в 20 лет: – Ну и работа у вас – в жопу врагам народа заглядывать! Виртухай промолчал и ничего не сказал. Лихой парень подумал: это я расскажу, скажем, Семену Владимировичу: он посмеется. Увы, не пришлось никому рассказывать» («Стилистика скрытого сюжета»).

Впрочем, о своем тюремном прошлом он писал мало и вспоминал редко, это было «исключение из правил».

– А что вы думаете, – самый интересный памятник литературы четырнадцатого века – это книга пыточных записей. А почему? А никакой отсебятины. Молчит – так и пишут: «Молчит». В нашем веке, конечно, все по-другому. В Лефортове особенно. Лефортово – военная тюрьма, там все по-другому. Днем койка поднимается и запирается ключом, под ней стульчак. Можно сидеть и ждать, а спать нельзя. Закроешь глаза, а виртухай через дверь: «Не спать!» А ночью вызывают на допросы, беседует с тобой вежливый человек. (У них все по отделам: где-то вежливо, в другом отделе – совсем не вежливо.) Присаживаешься копчиком на самый край стула, долго не просидишь. Это по ежовской терминологии «уебунген» от немецкого Übungen – «упражнения». А если спишь днем, то принимают меры: ночью приходят двое – или шестеро, если дерешься. Да, представьте, вот такая вдруг мальчишеская терминология: «В сто шестнадцатой дерется». Странно! Палачи, казалось бы, и вдруг: «он дерется». Но это же не пытки, верно? Никакой ни дыбы, ни «еще прикрутить». Ну,

ударили, ну, упал, очнулся. Что это? Пытали меня? Не пытали? Не помню.

…В карцере, конечно, хуже. Лежишь нагишом на полу, а тебя еще холодной водой поливают. Зато в лазарете хорошо, – началась новая эра, я учился ходить на костылях. И такие все кругом интересные люди! Обычно ведь никого не видишь, даже если встречаешься в коридоре, вертухай кричит «К стенке!». Только однажды видел: бежит по коридору настоящий скелет. Но это случайность, ЧП. А тут: слева Колосков, секретарь ежовской канцелярии, справа секретарь Менжинского, для конспирации разговаривают между собой буквами – ничего не поймешь. «А. сказал Б., что В… м-м-м…» – «Да ну?» И оба смеются.

…Или Айхенвальд. Такой тихий интеллигентный человек, а ему надели наручники. Следователь в протоколе написал «еврей», а Айхенвальд и не еврей вроде бы. Раз-раз – и порвал протокол. А человек, можно сказать, полдня трудился в поте лица. Не знаю даже, с чем это сравнить? Ну, это как если бы я писал протокол по-японски. «ЧТО-О-О? Бумагу рвать?» И нажал на кнопку: «В наручники!»

…А у меня спросили: «Вы общественной работой занимались?» Это чтоб найти меня в той картотеке, где общественные работники. «Что вы имеете в виду?» – «Ну, были вы, например, работником райкома?» – «Нет, но я недолгое время был членом одного ЦК». Ага, это тоже, значит, общественная работа.

…Я вывернул шубу мехом наружу, а к костылям была привязана авоська с коньками. Потом было замечательно, когда вошел лейтенант и доложил: «Коньки на *его* ногу». А я-то рассчитывал сходить туда и через пару часов вернуться, у меня еще урок был назначен в тот день.

…Вы думаете, там обязательно становиться в позу: «Я – Сильвана Пампанини!»? Нет. Нет. Достаточно, чтобы пришла жена и повторяла все время одну и ту же фразу, вроде: вы знаете, он по ночам не спит, а утром не может встать на работу. И все в порядке. Как у Алика спрашивали: «Чем вы сейчас занимаетесь, Александр Сергеевич?» Тот честно отвечает: «Я доказал правомерность сложения и вычитания, а вот правомочность умножения и деления пока доказать не могу». И они радостно записывают: «Доказал правомочность сложения и вычитания, доказывает правомерность умножения и деления». «А как чувствуете себя?» – «Спасибо, хорошо». Вот это главный симптом: если говорит «хорошо чувствую», значит, пора забирать. «Да-да, конечно, вы хорошо себя чувствуете, да, вы совершенно здоровы, вам только надо немного успокоиться».

…Справку о реабилитации я получал на Арбате, против «декоративных рыбок». Этот чин дал мне тогда подписать перечень изъятых и уничтоженных рукописей. Когда я подписывал, вдруг заметил, какой у него внимательный взгляд. Еще бы! Такой солидный список, пунктов двадцать. Например: «Возвышенная организация. Эпопея в семи частях с эпилогом». Или: «Я не люблю Москву». Кое-что из перечисленного – это один листок, но со стороны может показаться, что уничтожено капитальное собрание сочинений. Эпопея! Бальзак!.. И вот я думаю иногда: кто же их читал, эти книги, кроме *тех* читателей? Кроме них прочли человек шесть-семь. Положительных оценок мы, правда, не дождались. Только жена Паустовского что-то сказала. И еще спросила: а почему «Возвышенная организация»? Так это же из «Бесов», разговор Степана Трофимовича со Ставрогиной.

Трудно объяснить это ощущение: человек остался абсолютно живым, не залечил, не уничтожил собственную хрупкость. Научился преодолевать, ничего в себе не убивая. Сохранил целым и неразмененным даже свое огромное, ни с чем не сравнимое несчастье. Да, были «плохие периоды» и с каждым годом увеличивались. Но он умел из них выходить.

Это, наверное, и действовало сильнее всего: образ человека, оказавшегося сильнее собственной сломленности.

«Но что тут можно сделать? Отказаться от одиночества? Отказаться от надежды на талант? Отказаться от хорошего настроения? Отказаться от физических радостей? Умеренность и аккуратность?»

Как точно ложатся цитаты тридцатилетней давности, как хорошо повторять чужие слова. Но слова такие, что проще не бывает, то есть лучше не скажешь.

«Я не вижу выхода. Все идеи лживы и убоги – это дезертирство».

«Надо другое. Надо как в сказке: „С своей волчихою голодной выходит на дорогу волк“».

– Это вы здорово вспомнили: «с своей волчихою голодной». Тоже мне волк. Этак каждый заяц, каждый кролик, каждый ежик будет считать себя волком. Здравствуй, еж, как живешь? Что ты такой колючий? Что ты такой недостаточно колючий? Ты знаешь, кто твои соседи? Твои соседи как раз волки. И медведи.

Павел Павлович поглядел в окно, и его глаза стали подрагивать, как вода в стакане.

– Вы простите меня, я сейчас ни на что не откликаюсь. Переезд, грузчики. Я не могу видеть это хамьё. С которым нужно договариваться. С которым нужно торговаться. И я не могу представить, что меня ждет там, на седьмом этаже. В общем, обычная депрессия, и опытный многолетний человек знает, что это надо просто переждать, перележать, пережить.

Когда они, наконец, переехали за тридевять земель, на улицу Озерную, Павел Павлович позвонил Лене и сказал, что не даст мне новый адрес, если я ему не напишу. Я написал, получил адрес и еще много раз приезжал к нему в Очаково. В последние два года его долгого дыхания уже не хватало, даже чисто физически. Только весной восемьдесят шестого, последний раз по телефону – вдруг опять прежний голос, прежний напор, – весна, может быть, скоро увидимся? Надо бы сдать Диккенса и купить что-нибудь по-английски. Это была последняя вспышка, больше он не звонил.

«Ладно, Миша. Нам-то спешить некуда. У нас в запасе вечность».

Павел Павлович умер рано утром 24 мая 1986 года. Позвонила Лариса, я сразу приехал. Тело еще не убрали с дивана, но *его* уже совсем не было в комнате, и я смог подойти к столу, посмотреть, что там лежит. Лежала книга, видимо, последнее, что он читал. Название – «Занимательная приматология». Рядом лежали аккуратно сложенные карандашные записи – два листочка, помеченные тем же числом. Почерк «плохого дня»: неровный, некоторые слова трудно разобрать, особенно на втором листке. Последние фразы почти непонятны, но и их удалось угадать:

«– Позвони!

– Я буду звонить!

Это на тот свет-то? С того света на этот? Ждать звонка?

Интересное кино».

А через несколько лет после его смерти произошел случай с легким налетом мистики. (Как раз такие вещи любят описывать мемуаристы.) Я топтался у метро «Кропоткинская», ровно в том месте, где мы часто встречались с Павлом Павловичем, оно для меня и сейчас с ним связано. Что-то заставило меня обернуться. Неподалеку стоял человек с палочкой, и это был молодой ПП. Ну, не совсем ПП, но человек, невероятно на него похожий, как младший брат. Та же щеточка усов, те же волосы с зачесом назад.

Мы встретились глазами, он посмотрел на меня весело и с любопытством. Я от неожиданности отвернулся, а когда посмотрел снова, его, разумеется, уже не было.

Открытки Асаркана

Вы никогда не сможете узнать смысл сказанного человеком с помощью простого изучения устных и письменных высказываний, им сделанных, даже если он писал или говорил, полностью владея языком и с совершенно честными намерениями. Чтобы найти этот смысл, мы должны также узнать, каков был вопрос (вопрос, возникший в его собственном сознании и, по его предположению, в нашем), на который написанное или сказанное им должно послужить ответом.

Р. Дж. Коллингвуд

Долго не мог вспомнить, какое слово он говорил, прощаясь. Вроде «привет» или «пока», только не такое привычное. Какое-то окрашенное. И совсем не в его цвета, так что оно каждый раз заново удивляло. Что-то бравое. Подобные словечки употребляют строительные начальники, но у него – из-за несоответствия – это звучало неожиданно и дружелюбно. Обычно такая концовка не соответствовала торопливой деловитости телефонного разговора и потому возвращала все на свои места. Вот вертится, вертится, даже звук слышу…

Потом вспомнил: он говорил «ну, есть».

Мы познакомились году в семидесятом на так называемых «четвергах» – журфиксах в квартире Зиновия Зиника. Эпоха чая с большой буквы еще не настала, и Асаркан учил всех, как обращаться с новенькой кофеваркой. К ночи гости выходили порциями, чтобы успеть на метро, на пересадку. У каждого было свое время. Наше время примерно совпадало, и мы часто шли вместе. По дороге Саша обычно рассказывал, как посещал здесь когда-то баптиста, с которым вместе сидел. Детали разнились, но сюжет новеллы сохранялся. Поэтому я долгое время полагал, что Асаркан не выделяет меня из толпы гостей и выходит – по его мнению – всякий раз с новым спутником. Слушать было все равно интересно, я кивал и не возражал.

Но как-то шел я днем по центру и, остановившись у

светофора, заметил на другой стороне Петровки две фигуры: Асаркан в берете, в пиджаке-размахае и (в бордовом свитере) общий наш знакомый Леня Глезеров. Асаркан что-то рассказывал, показывая рукой; рука указала на несколько неодушевленных предметов и внезапно остановилась на мне. Леня повернул голову и улыбнулся. Они перешли улицу.

– Очень хорошо, Миша (!). Вы попали мне как раз на запятую: я перечислял Лене достоинства этого уголка Москвы, какие тут есть всякие ларьки и заведения, и вы оказались последней достопримечательностью. Мы вообще-то идем за соевыми батончиками «Турист» по пятнадцать копеек, но сейчас мне срочно нужен телефон-автомат. Вам обязательно идти в ту сторону?

Конечно, необязательно. По дороге была куплена книжка итальянских идиом за 57 копеек, и на лавочке за «Россией» Саша дал нам первый урок итальянского. Так я узнал, что мы знакомы.

Дальше знакомства дело, я думаю, не пошло. Это было очень длительное знакомство, а с моей стороны – очень внимательное. Но все же я его по-настоящему не знал и уже не узнаю. Могу только что-то предположить или придумать.

Это портрет в первом приближении, вполне расплывчатый.

– Асаркан? Это один такой великий человек, – сказал Зиник, по обыкновению чуть втянув щеки, как будто удерживался от улыбки. На самом деле не удерживался, а наоборот – вызывал тень улыбки, чтобы правильно окрасить высказывание. Такие фразы следует произносить иронически. (Но это не значит, что сама фраза неверна.)

К такой интонационной традиции я пристроился почти машинально. Никогда не хотелось подмечать в Саше что-то смешное, да мне это и не свойственно. Уже потом и для чужих людей пришлось придумать теорию о новом типе учителя: учителе навыворот, который заменяет проповедь отповедью и пародией, а первым делом пародирует самого себя. Сам я не нуждался в таких пояснениях, но другим они, пожалуй, требовались. Люди, наслушавшиеся рассказов, при первом знакомстве считали, что их разыгрывают: это Асаркан? этот невысокий и лысый, мешковатый, нервически подвижный, в дырявом пиджаке? это Асаркан?

В нем не видели, удивляясь, никакой значительности, с которой обычно связано серьезное и сильное воздействие на окружающих. Ее и не было. А воздействие было, его подтверждают (с благодарностью или недоумением) десятки

людей. Может быть, сотни.

Многие авторы журнала «Театр» тех лет, описывая актера или его персонаж, внимательно поглядывали на своих знакомых и переносили в текст их черты. Получалось как бы двойное, стереоскопическое изображение. Мне очень нравился этот смещенный жанр «для узкого круга», и я охотно (и не всегда правомерно) вчитывал знакомый образ в чужое описание. Вадим Гаевский писал, пожалуй, именно о Барро, но я, читая его текст, видел Асаркана:

> Скрытая энергия жизни – может быть, главное у Барро. В специально тренированном умении ее ощутить, ею овладеть, ее обнаружить – загадка его магнетизма… Это человек, живущий в стороне и в тени, в ситуации, когда слово узурпировано и померкло. Он, однако, избранник судьбы. Социальный мир, не ставящий его ни в грош, и не догадывается о таящихся в нем стихиях.

Саша держал своих последователей на некотором расстоянии, и в этом была дисциплина отношений, принимаемая всеми как норма. Точнее, как ритуал. «Почтительность без ритуала приводит к суетливости», – говорит Конфуций. Но именно суетливость обнаруживал в себе неофит, старавшийся как-то приноровиться к новому миропониманию.

Это была правильная и единственно возможная тактика: держать в строгости. Честная открытость возможна в какие-то минуты, часы, а для долгой жизни сообща нужна *система*, оборудованная своими тотемами и табу, притяжением-отталкиванием. Так можно выиграть время.

Асаркан создал магнитное поле таких притяжений. Он так соединил множество людей, что каждый был необходим на своем месте и каждому было необходимо его место.

* * *

Пора сказать, что Асаркан был театральным критиком, литератором. Но полное и как будто естественное его воплощение было не литературным, скорее зрелищным. Однажды он проговорился, что все детство мечтал стать режиссером. Это многое проясняет. Саша все-таки стал режиссером: он поставил самого себя на московской сцене.

– Я тогда учился на режиссера на курсах для самодеятельных

артистов. При театре Вахтангова. Я всегда был как-то связан с этим театром, вот и пошел. Даже поставил один эпизод из пьесы «Человек с ружьем», и он был показан на сцене. Ленина играл человек, свихнувшийся на своем сходстве с вождем. Сходство действительно было сильное, особенно в гриме. У меня была фотография, где я с ним стою, так все думали, что это монтаж. Там еще провод шел по стене между ним и мной – фу, говорили, и как грубо склеено! Мне эту карточку привезла в ЛТПБ такая Люська-буфетчица, моя, так сказать, тогдашняя жена. Женой она стала потому, что ей грозили от родителей жуткие побои, когда она собралась от кого-то рожать без официального на то статуса. А у меня были тогда два паспорта, я и подумал, что один, чистый, в крайнем случае останется. Но его потом отобрал за долги один книжный спекулянт. Да-а. Даже ребенок был официально мой, и фамилию мою носил. Я его, правда, никогда не видел. Но Люська проявилась тогда в качестве тюремной жены и даже передачи носила. Карточку вот привезла.

(ЛТПБ – это Ленинградская тюремная психбольница. Арестовали Асаркана в пятьдесят втором, история его ареста не вполне тривиальна, не без примеси анекдота. Еще во время войны, почти ребенком, он писал открытки-листовки и бросал их в чужие почтовые ящики. Через семь лет его почерк наконец идентифицировали. Но детская страсть к почтовым отправлениям осталась на всю жизнь.)

– У них была тогда такая манера: пройти по всем комнатам коммуналки с проверкой документов. Все думали, что это очередная облава, ищут живущих без прописки. Дошли до моей комнаты, тоже у всех спросили документы, а у ж когда до меня очередь дошла, предъявили ордер на арест. Зачем они так делали – не знаю.

Потом привезли меня куда-то два конвоира и офицер. Я заметил угол дома, мне показалось, что это Петровка. Я спрашиваю: «Петровка?» – «Хе, – говорят, – Петровка! Селезневка». Я подумал, что они просто так сказали, для рифмы.

Беседовала со мной сначала одна женщина-врач. Я ей все рассказал, и что душевных заболеваний не признаю, тоже сказал. Что, мол, такое? Что душа есть, не признают, а вот душевные заболевания – пожалуйста! Нет никакой шизофрении, все люди по-своему шизофреники. Потом вызвали на комиссию, я там все то же самое сказал. Конвоирам говорю: хотели меня сумасшедшим признать, но я их обманул. А один заглядывает в мое дело: «Обманул, говоришь? Ну-ну».

Повезли меня обратно, но почему-то в баню. Я им говорю: я ж только вчера был. А они: ну, помоешься для вида, а то *там* не

примут. Где *там*? Тут уж я стал что-то понимать. Но все еще не представлял, какие это мне сулит выгоды. И только потом, когда меня привели в палату, а там – днем! – арестанты на постелях лежат, а некоторые даже укрывшись с головой (что строжайше запрещалось), – тут уж я все и понял.

А Снежневский уж потом стал гад, когда начал всякие лекарства с Запада таскать и перенял их злодейскую психиатрию. А в то время ничего в нем страшного не было. Они были последователи Павлова и применяли, например, сонную терапию. Это ж такое счастье! Лучше и быть ничего не может. Окна занавешены, валяешься целый день на кровати.

Он меня и потом вызывал, после освобождения. Сначала мне велели обождать в актовом зале. Сижу, жду. На стене объявление: сегодня лекция профессора Снежневского о формах шизофрении. Тут я понял, что он меня вызвал для демонстрации, как пример. Спрашиваю: еще кого-нибудь вызывали? Нет, не вызывали. Это значит, я один-единственный буду иллюстрировать такую глобальную тему. Ладно. Вызывают, я вхожу в лекционный зал. Он начинает спрашивать, я ему подыгрываю: смотрю так, исподлобья. – Работаете? – Нет, говорю, не работаю. – А почему? Не хотите? – Не хочу. – Но как же, говорит, вам ведь, наверное, туго приходится? Бывает, что и заработков нет? И есть нечего? – Да, говорю, бывает. – Так как же? – А мне, говорю, все равно.

И он, уже обращаясь к залу, удовлетворенно показывает на меня: «А ему все равно!»

Асаркан писал не только о театре, но о зрелищах любого рода, а всего охотней, пожалуй, о цирке. Здесь его письмо как будто оказывалось в родной стихии, могло позволить себе любые вольности, даже открытый пафос. Вот, например, название одной из таких статей: «Отважный юноша на летающей трапеции». (Чего он в конце концов хотел? Обучить отваге? Существованию на лету? Воссоздать исчезнувший человеческий тип?)

Когда человек практикует собственный театр, жанры поневоле смещаются, и Сашина режиссура, пожалуй, больше подходила именно цирку. Ему нужна была своя труппа: укротители, иллюзионисты, а в основном – те воздушные гимнасты на летающих трапециях. Но Саша был хорошим режиссером, поэтому, требуя полного подчинения, по-настоящему интересовался только теми, кто бунтует ради собственной трактовки. Может, это и было его задачей: подобрать подходящий состав, чтобы потом спокойно отказаться от роли ведущего, а по совместительству комика-эксцентрика.

Только статисты не требовались вовсе, всем надо было

работать в полную силу.

Вероятно, поэтому я вспоминаю наши отношения как постоянное торможение на какой-то границе. Дело было, я думаю, не в нем, а во мне. Для Зиника, например, не только писание для «Театра», но и проговаривание за Асарканом его монологов имело какой-то внутренний смысл: он учился и образу жизни, и способу пародирования. Кое-что я перенял – по инерции, – но никогда не стремился перейти ясно ощутимую границу. Отношения за этой границей Саша допускал только для своих учеников: неровные, близкие, но по-своему регламентированные.

Как-то на «четверге» Саша побледнел, почти позеленел и сразу ушел в другую комнату. Я заволновался: почему никто не обращает внимания, это же сердечный приступ. Смирнов усмехнулся и сразу ответил, как будто ждал этого вопроса: «Потому что *он* так хочет».

Они делали только то, что он хочет, но позволяли себе слегка пересмеиваться. И то больше для порядка, – не так уж их волновала собственная независимость. А мне было достаточно видеть Асаркана, слышать его закрученные монологи и артистические пикировки. Мне было достаточно *зрелища*.

Асаркана это, по-видимому, раздражало. Он не знал, как ко мне относиться, – и не знал, к кому отношусь я: к публике (тогда многое простительно, а отношение может быть благодушным) или к артистической семье, где контакты очень требовательны и придирчивы? Я остановился на границе между залом и рампой. Рабочий сцены?

Асаркан был для меня героем неизвестно какого эпоса и человеком из непонятно какого времени. Из прошлого – потому что до его человеческого опыта нам было не дотянуться. Из будущего – потому что он смотрел на все словно со стороны.

В первую очередь поражала его ни на что не похожая эрудиция: ее энциклопедический объем, не имеющий видимого фундамента, – просто знание как таковое. Но это знание не лежало мертвым грузом, скорее, было инструментом оперативного вмешательства. В том числе – в сознание собеседника.

При всей видимой хаотичности в подборе этой громадной массы сведений проглядывало какое-то направление. *Какое-то*, но уж никак не прямое. Оно рисовалось подобием иероглифа, а тот со временем совершенно слился с Сашиным образом. Важное и неважное там явно поменялись местами, и в такой опрокинутой иерархической системе все «значительное» оказывалось внизу

или за скобками. Что-то подобное записано в книжке М. Л. Гаспарова «Записи и выписки»: «Важно не то, что важно, а то, что неважно, да важно, вот что важно». По большей части – забавные частности, характерные подробности, но в свою очередь и не на первых местах. Логика предпочтений прочитывалась довольно ясно, но сформулировать ее было невозможно. Это была *художественная* логика.

Самой неприязненной реакцией и самой низкой оценкой было определение «нехудожественно». Похоже, именно художественный вкус определял систему Сашиных приоритетов, только слово «художественность» тут нужно толковать расширительно. Неповторимая авторская манера последовательно присваивала его действия, речь, письмо, мнемонические способности. В решительности его отповедей и неизменности повадок постепенно прочитывалась эксцентричная зрелищная форма. Какой-то новый образ, новый опыт, весь смысл которого – в его чистоте. Некий урок. Человек-притча, текстом которой является он сам. Кто захочет, прочтет.

Уроком становился и общий строй его представлений: очень трезвых, ироничных, начисто лишенных предубеждений и общих мест. Не идеологическое, а физиологическое неприятие громоздких авторитетов (людей, идей, мнений), принимаемых всеми как должное. Отвращение к слепым ученым словам. Даже не враждебность, а смешливое презрение, которого только и заслуживают всякие нелепости. Абсолютная точность реакций – интеллектуальных и душевных. И молниевидное мышление «по касательной», доведенное не просто до артистизма, но до степени весьма состоятельной и впечатляющей экзистенциальной техники.

Каждое движение, жест, интонация Саши как бы выводили меня из себя: встряхивали и заставляли занять другое положение. И уже из этого положения я мог что-то видеть: свою тень или прежнюю позу или хотя бы свое недавнее место. Зрелище было неприглядное.

– Вы знаете, что это за дом? – спрашивает Саша, кивая на огромный дом-квартал.

– Знаю: дом скакового общества «Россия».

– *Какого* общества?

Ну, не скакового – страхового, что-то слышал вполуха, не так запомнил. Как и многое другое. Мы знаем все, но в пересказе Асаркана, с его слов, а эту скороговорку не запомнить и с третьего раза. Есть такое свойство у чужого опыта. Что-то

припоминается, что-то такое было, но когда? с кем?

Жили с запасом знаний дикаря (но без его простодушия). С одержимостью, которой не осознавали и не могли с ней справиться. Человеческая одаренность Асаркана была в том, что он контролировал свою одержимость и бросал все начинания прежде, чем они успевали превратиться в свою противоположность.

Асаркан ничего не декларировал и как будто никем не был. (Был, правда, известным театральным критиком, но сам низводил свою известность до какого-то недоразумения.) При этом его трудно было заподозрить в отсутствии убеждений и твердых мнений. Но они были «утоплены», как художественные приемы в классическом произведении, когда ясно только, что эти приемы *есть*.

Он обладал врожденным пониманием ситуации. Той, нашей ситуации, где яркость и убожество поменялись местами, и на какую-то «художественность» можно было надеяться, только существуя на самом краю. С беспощадным упорством он выпалывал в себе все ростки социальности, что в каждом из нас прут как сорняки. Так снижал себе цену, что уже и вовсе не было ему цены.

Способ его мышления был, если можно так выразиться, стихийно-современным: многие проблемы, воспринимаемые всеми – всеми нами – как мировоззренческие, он видел языковыми. Просто он мыслил *из другой точки*.

Это было следствием какой-то особой интуиции. Она проявлялась в частных ситуациях, но сама ощущалась не частностью (не житейской зоркостью, прозорливостью), но выводом из *общего* и знаком целостного понимания. Асаркан шестидесятых-семидесятых годов думал, чувствовал и реагировал на события как человек двадцать первого века. Как человек нового исторического сознания. Он никогда не разворачивал его, так сказать, фронтально и вообще как будто скрывал. Позиция никак всерьез не проговаривалась, а подавалась как бы в сносках и скобках разговора. Но эта инородность постоянно давала о себе знать.

* * *

– Неужели ты не понимаешь, что это все уже не имеет никакого значения, – все эти книги, статьи, и где ты поставил

запятую вместо точки, а *они* – дураки! – не догадались.

– Какой ты, Асаркан, все-таки злой человек. Я не могу с ним разговаривать, он весь пропитан ядом. То, что ты здесь наговорил, – типичный конформизм.

– Это я не понимаю, что такое.

В первые годы знакомства мы виделись только у Зиника или, изредка, у Айхенвальдов, где всякий раз начинался этот вечный диспут, идущий еще со времен ЛТПБ. Уже после отъезда Зиника я впервые зашел к Саше домой – с каким-то поручением. Жил Асаркан не где-нибудь, а на Хитровке.

С бульвара я свернул в Подколокольный, дошел до ближайшего угла и остановился. Задрав голову, начал высчитывать нужное окно второго этажа. Вот оно, с другим не спутаешь. Узенькое, по цвету напоминает закопченный глазок дачной керосинки. Внизу что-то круглилось. Сашина голова в берете, вот что это было. «Войдите в ту арку и поверните налево». Повернул. Дающий дальнейшие указания голос из темноты обнаружился на другой стороне и чуть ли не в другом корпусе. Как выяснилось, – в крайнем окне длинного коленчатого коридора. Коридорная система. Крашеные дощатые полы, тусклое публичное освещение. Подъехал ребенок на трехколесном велосипеде, внимательно посмотрел на меня и спросил у Саши: «Это твой друг?» Ему пришлось сказать «да».

Вот эта комната. Все многочисленные рассказы не дают никакого представления. С таким же основанием и гамак можно назвать комнатой. Такой одиночный окоп с осыпающимися краями. Почерневшие кипы газет нависают над заваленным тряпьем диваном. На одной музейная табличка «Гробница Романовых». Пепел миллиона сигарет и запах последней тысячи.

В следующий раз я зашел к нему со знакомой англичанкой. Та морщилась и диковато озиралась: «Здесь так пыльно, вы же можете *помереть*!» Потом спросила, где он работает. Саша посмотрел на меня укоризненно: «Миша, у вас же была такая длинная дорога, чтобы все объяснить. Ну, что мне на *это* ответить?» Девушка не стала настаивать, ее все-таки больше интересовало, почему такая пыль.

– Понимаете, последний раз я разрешил сделать уборку в этой комнате в августе 1968 года. И в тот же день наши танки вошли в Прагу. Больше не хочу рисковать. И вообще это бывшая Хитровка, здесь раньше жили босяки, а писатель Гиляровский водил сюда режиссера Станиславского. Около нашего дома все время стоят туристские автобусы, и экскурсоводы рассказывают о

босяках, кивая на мое окно. В церкви Николы Чудотворца теперь завод, где изготовляют из пеностирола канистры для бензина. Пеностирол – это такая пластмасса, канистра это такой сосуд, бензин – это бензин.

В такой комнате можно было только отсыпаться. Саша был, в сущности, человеком бездомным и большую часть дня проводил на улице, перемещаясь из одного теплого помещения в другое. Перемещаться надо было быстро, чтоб не замерзнуть. (Денег человеку нужно ровно столько, чтоб не умереть с голоду; одежда в списке основных потребностей не значилась.) Пальто не припомню, случались куртки с чужого плеча, а еще раньше – пиджак на все времена года, к зиме утепленный фуфайкой и шарфом. Шарф перекручен вокруг горла, свободным концом за спину. Руки в карманах, перчаток нет. И не надо, потому что – «Зачем перчатки? Когда куришь, все равно снимаешь, а так в карманах теплее».

С Хитровки он шел пешком в редакцию, в кафе, к Центральному телеграфу – отправить открытки. По дороге останавливался у каждого газетного стенда. Из этого положения его не раз забирали в милицию. В дырявом пиджаке и кацавейке, почти наголо острижен – подозрительно! «Но стоит мне предъявить справки об инвалидности и освобождении, как они тут же понимают, что такой человек именно так и должен выглядеть. И все улаживается».

Кроме Москвы Саша знал назубок еще два города, Ленинград и Львов, и это знание соединило интерес краеведа-любителя и опыт бездомного человека. Однажды мы были в Ленинграде в одно время: Саша приехал по делу, а я и Витя Коваль просто так. Несколько дней ходили вместе, и я никак не мог выбрать время, чтобы позвонить домой: все было рассчитано почти по минутам, из той особенной пирожковой надо было бежать в эту необыкновенную кофейню, оттуда в пышечную (и шишечную), а потом стоять в очереди за особой ленинградской газировкой ценой в одну копейку. В промежутках осматривать архитектурные памятники. Ноги гудели. «Что это он у вас все *присаживается*?» – спрашивал Асаркан, скептически разглядывая Витю, рухнувшего на долгожданную скамейку.

В следующий свой приезд я прошел тем же маршрутом и дословно вспомнил все комментарии. Что-то помню и сейчас. Помню вещи, на которые не обратил бы внимания, и продолжаю завидовать Сашиному избирательному, но острому вниманию и совсем не избирательному, неистребимому любопытству.

Потом Асаркан всякий раз присылал мне открытки из Ленинграда – как бы по старой памяти.

> Если бы ворота Зимнего дворца не были заслонены Колонной, дворец был бы хуже, потому что проем ворот должен был бы держать всю ширину фасада и весь простор панорамы, и все бы ругали Растрелли (не вблизи, а от Арки), противопоставляя ему Файбисовича с его чувством ритма.
>
> Вчера поздно вечером в квартиру где я ночую приехали двое на Жигулях и позвали смотреть наводнение. Сбылась моя мечта. Но я не поехал. Оно было маленькое, затопило площадку со львами на стрелке Вас. Острова, осквернённую новобрачными. А я остался читать стенографические отчеты III Государственной Думы (24. 11. 79).

* * *

«Четверги» окончились с отъездом Зиника. Мы стали встречаться днем небольшой компанией в кафетерии гостиницы «Москва» и пить кофе из знаменитых кофейных машин. Потом заходили в редакцию журнала «Театр», где Саша тут же раздевался до рубашки, курил, листал журналы и атаковал приходящих. Иногда шли к «Праге» или к Центральному телеграфу, который тоже был «местом встреч». Как-то стояли мы там небольшой группой, и вдруг из обтекающего нас людского потока вынырнул Якир, бросился к Асаркану: «О! Саша!» И сразу несколько человек остановились в отдалении, образовав неявный круг. Саша разговаривал спокойно, а Якир нервничал и оглядывался по сторонам. «Он сейчас способен на любые эксцессы», – тихо сказал Смирнов. Я и сам это знал. Прошлым летом 74-го года я видел Якира в Коктебеле. Он отошел от пивного ларька сразу с четырьмя кружками, долго оглядывался, потом поставил кружки на землю, а сам стал на колени. В таком диком положении – и уже не оглядываясь – опустошил все четыре кружки.

Асаркан натягивает верхнюю губу на нижнюю, вид у него становится как будто унылый, но еще более милый.

– Главное, что нет у меня для дома никакого чайного припаса. Тот, что здесь в наличии, – это как бы и не припас,

потому что нет соевых батончиков. А если я пью дома чай без батончиков, то вроде бы и не пил. Раньше я и кофе у себя варил, а теперь для меня выпить кофе – это только в «Москве». А однажды, когда-нибудь мне не захочется выходить из дому – ну так что ж, значит, кончилось и это. Еще одна идея получила естественное завершение. Вот в Ленинград мне достаточно съездить еще разок надолго или там два раза быстро, и я его уже освою, мне он будет как бы не нужен. Так… может быть… лет через десять вернуться в город, знакомый до слез. Без слез, разумеется.

Идея действительно вскоре получила естественное завершение: закрылась кофейня в гостинице «Москва». Окончились ритуальные встречи – «всегда по четвергам» – в память о «четвергах» у Зиника.

И тогда я понял, что «четверги» уже вошли в мою кровь я не могу без этого жить. Ровный пчелиный гул разговора; намеки и скрытые цитаты, облетающие стол, как набоковские бабочки. Счастье полного понимания. Наркозависимость своего рода.

«А почему бы тебе не организовать это у себя? – спросила Нина. – Кухня у тебя большая, человек двенадцать уместятся. А то и пятнадцать». – «А кто же будет приходить?» – «Как «кто»? Мы будем приходить, ребята твои. Саша будет приходить». – «Саша?».

Саша действительно стал приходить – почти всякий четверг.

В первый раз, не раздеваясь, в куртке, зашел прямо на кухню. Осмотрелся. «Ага. Так-так. Ну, прекрасно». Вдруг увидел на полке несколько разномастных бутылок и взглянул на меня со странным выражением, как бы не веря своим глазам: «Вы что, Миша, бутылки коллекционируете?» Да нет, случайно скопилось.

Наша бесформенная жизнь нуждалась в каком угодно оформлении, и Сашин чайный ритуал оказался очень кстати. К этим церемониям как-то прилагалась нелюбовь к водке и пьяным разговорам. Точнее, водка не вызывала одобрения из-за этого ее неизбежного следствия, не сама по себе. Собственно от водки (если она оказывалась) Саша не отказывался, но не пил ее, а как бы *принимал*: наливал полстакана, выпивал сразу и потом уже ничего не пил. Но попытки «наконец-то поговорить всерьез» пресекались всегда, а дальнейшее общение с таким испытателем было уже формальным. Если игра идет впустую, играть не имеет смысла.

Разговор Асаркана с его давними собеседниками не всегда был диалогом в привычном понимании, скорее, идеально пригнанными друг к другу монологами, перехватывающими инициативу в секунду вынужденной паузы. Саша даже чуть

пригибался, и по каким-то неясным звукам можно было понять, что он проговаривает про себя речь собеседника, как бы поторапливает его. Он был, конечно, монологист, но с отличным режиссерским чутьем: в разговоре с ним как-то не замечалось, что говорит-то, собственно, только он. В основе монолога была диалогическая логика. Это был диалог со многими людьми одновременно, потому он и принимал форму монолога. Слушатели вовлекались в Сашину речь, и каждый занимал там подходящее себе место. Вероятно, имело значение и *качество* этого монолога. Воспроизвести его невозможно, мои записи, скорее всего, только сбивают с толку: исчезает ритм и интонация, уходит скоростное, закрученное чередование тем. (Но какое-то – отдаленное – представление дают Сашины статьи или тексты некоторых открыток.)

Умещались на нашей кухне и двенадцать человек, и пятнадцать, а случалось, и все тридцать. Новый «четверг» смешал два круга: знакомых Зиника и моих друзей по институту или по литературным занятиям. Произошло, что называется, столкновение разных дискурсов, и совместились они не сразу, не без осложнений. Наши собственные беседы были порой увлекательны, но им нужны были особые условия: долгое ускорение, специфическая «возгонка». Асаркану ничего такого не требовалось. В разговор он входил мгновенно и сразу брал единственно верную ноту.

– Тут Брежнев внезапно приезжает в Вену, и всю эту детскую оперу срочно высылают домой. Пришлось моему приятелю на все деньги накупить курточек «сафари» – в бешеном количестве.

– Не понимаю, зачем их высылали из Вены? У них в репертуаре есть очень подходящий к случаю спектакль, называется «Лопушок у Лукоморья»…

– Они оба, и Бегин, и Садат, взяли себе одного и того же имидж-мена, из США, естественно. Это человек, который учит, как себя вести и как к кому обращаться. Одному корреспонденту сказать: «Нет, мистер Робертсон», а другому: «Да брось ты, Дик». Ну, разумеется: один еврейчик, другой – дикая арабская скотина, а теперь им обоим надо изображать мировых лидеров.

– Тут и Каверзнев по телевизору высказался о Садате примерно так же: дикая арабская скотина.

– Ну, тогда уж, наверное: дикая антиарабская скотина…

– Мечется этот Картер, пытается что-то сделать, ничего у

него не получается, все над ним смеются. Но тех, других, ведь тоже в детстве чему-то учили, они же видят: вот, тоже политик, делает всякие гнусности – детишек целует, с домохозяйками снимается, – а все-таки борется, над чем-то бьется. Вот и им стыдно стало: да-а, действительно… Афганистан… и еще этот, как его?.. Сахаров… и вообще людоедство… ах, людоедство – это не там? Ну, все равно. Давайте что-то заявим, сделаем. Отзовем на некоторое время нашего посла в знак протеста. Ну, отозвали. А нам-то что? Баба с возу – кобыле легче.

– Но почему, Саша? Вот вчера «Голос» сказал…

– «Голос» сказал! Яков Бёме сказал! Кто такой «Голос»? Такой же дурак, как и все остальные.

– Тут как-то пошли мои ходики, которые стоят уже очень давно и безнадежно. Они шли целый день, а ночью опять остановились. Но интересно, что это был за день: первое апреля. И вот пару дней назад они пошли снова. Ну, думаю, несдобровать. И точно: перед этим я ночью писал рецензию, а утром поехал с ней в редакцию. И по пути потерял. Пришлось возвращаться и срочно писать заново, но мне уже кажется, что раньше было куда лучше, – многое забыл. А кроме того, существует вероятность, что эта рецензия появится где-то еще и под другой фамилией. Хотя, конечно, вряд ли ее пропустят в каком-то другом органе.

– Я, кстати, принес вчерашний «Спу тник Кинофестиваля»…

– Ни за одну фразу я не отвечаю. Меня в этом году печатали как никогда плохо. Если и фраза моя, то контекст не мой. Даже опечатки какие-то двусмысленные. Где-то вместо «восторженно целует» напечатали «всесторонне целует».

– Они взяли двух самых красивых актеров…

– Это Тараторкин-то самый красивый?

– Не надо, Миша, возражать, не надо. Отнеситесь к нему как к репродуктору: вы же репродуктору не станете возражать, верно? Потом выскажете свое мнение, а сейчас пусть договорит: взяли двух самых красивых актеров на роли самых великих поэтов и сделали самый плохой спектакль. А то вы скажете, что актеры не самые красивые, кто-то скажет, что поэты не самые великие и так далее. Я всю жизнь мирился с тем, что перебивают: ну, перебивают, что ж, ладно. А в последнее время стал общаться со всякими иностранцами: им говоришь, они сидят, ничего не понимают, но – не перебивают, дослушивают до конца. Значит, перебивать – это не общее человеческое свойство, а только наше здешнее бескультурье. Теперь вот борюсь.

Как-то Асаркан пришел к нам непосредственно от участкового. Тот его спрашивал, не подвергался ли взысканиям.

– В последнее время, отвечаю, нет, не подвергался. Ловили меня в шестьдесят седьмом, да не поймали. То есть как, говорит, ловили, да не поймали? А так: хотели упечь в психушку на праздники, как всех подозрительных, – на всякий случай. А я уехал. Они даже к Айхенвальдам заезжали, хоть и другой район. Но потом все-таки застали меня – у тех же Айхенвальдов, я за книжкой приехал. А тут дни рождения скоро, поесть дадут, – неохота ложиться. И стал я, как Алик Вольпин, права качать. «Вы что ж, говорю, даже повестку мне не прислали. Я бы все равно не пришел, но все-таки…» – «А-а, говорят, повестка? Вот вам, пожалуйста, повестка». И подписана завтрашним днем. Потом, уже в отделении, чин один мне говорит: «Я знаю, вы хотели уклониться от диспансеризации». – «Ну и как, по-вашему, удалось мне это?» Он посмотрел и говорит: «Ну, удалось». А может, это и не от них шло. Потому что раньше ходила по квартирам «чернуха» – старуха из диспансера – и кричала: «Почему не ложитесь в больницу? Я не хочу из-за вас в тюрьму попадать». Она-то, видно, и писала там: от диспансеризации отказался. И это уже передавали в милицию.

* * *

Однажды Смирнов конспиративно шепнул мне в коридоре: «Он уезжает». – «Так что, это дело дней?» – «Может быть, даже минут», – и Лёва сделал страшные глаза.

Потом от Саши пришла фотография с надписью: «Всего за 700 руб. вы можете стать призраком, который бродит по Европе». Но расставание растянулось почти на год.

На последнем «четверге» Саша полвечера был единственным гостем. (Бывали такие неожиданные вечера.) Представилась последняя возможность «поговорить», которой я почему-то не воспользовался. Мне как будто замуровали рот, и я с трудом выдавливал из себя самые простые фразы. Потом пришел Сёма, и разговор полетел по наезженной архитектурной колее до самого последнего 55-го автобуса. Напоследок Саша прочел новому гостю небольшую лекцию о правилах поведения в торговых точках: «Заходя в магазин, помните, что вы пещерный человек и идете охотиться на мамонта: либо вы мамонта, либо мамонт вас. И скорее все-таки он вас. А вы требуете справедливости, когда вся справедливость кончилась еще в семнадцатом году. И тем самым

ставите себя с ними на одну доску. Требуете жалобную книгу, начинаете качать права, хотя никаких прав у вас нет и быть не может».

– Я не принес вам то, что хотел, – говорит он, прощаясь. – Руки были заняты. Придется вам ко мне специально зайти.

– Что ж, прекрасно.

– А что «прекрасно»?

– Ну, лишний раз увидимся.

– Ка-ак? И вам нужен лишний раз? – Саша был почти в ярости. – Да что такое происходит? Учитесь у Улитина: как он меня тогда *отпустил* – одним кивком.

В долгих и близких отношениях двоих людей всегда есть какой-то занавешенный угол, который, как чувствительная фотопленка, не выносит света. Туда не могут заглядывать чужие, да и не должны. Я только вспомню сейчас, что говорил об отношениях Улитина и Асаркана Вадим Гаевский: «Это великое противостояние должно было разрешиться в литературной полемике, в журнальной борьбе и сваре, но – в силу отсутствия таковых – получает чисто житейское разрешение. Бытовые столкновения: влияйте на меня, влияйте…»

Я много раз был свидетелем привычных пикировок Саши и Павла Павловича. Каждый раз это был особый спектакль, очень неожиданный, но одно ощущение перекрывало остальные: чувство защищенности. Ты как за каменной стеной. Рядом с тобой люди, чей опыт настолько превосходит твой, что тебе еще целый век – учиться и учиться…

Век оказался коротким. Асаркан уехал в восьмидесятом, Улитин умер в восемьдесят шестом. Главным открытием последующих лет было то, что *качество* их опыта вовсе не определялось разницей в возрасте. Когда мы познакомились, Улитин был моложе меня теперешнего, Асаркану не было и сорока. Это нельзя осознать, это непостижимо. Их тогдашний возраст (тогдашний опыт) и сейчас кажется недоступным. Это *подлинный* опыт, которого у нас как будто и не было. Или мы не сделали свой опыт явным – и способным к передаче. Не сделали его примером.

– Зиник однажды раскололся: Асаркан видел «Табу»[6] в конверте с печатью минского ГБ, – рассказывает Улитин, игнорируя присутствие главного героя рассказа; тот морщится, но терпит. – «В конверте, спрашиваю? Такой толстый переплет – в конверте?»

– Ты неправильно понимаешь слово «конверт», – не выдерживает Асаркан, – конвертом может называться даже полиэтиленовый пакет.

– Короче, его вызвали и показа ли книгу: читали? «По листочкам, в кафе. Все не читал». – «А вот эту страницу читали?» – и показывают: «Только один человек может уничтожить двадцать второй съезд, но ему некогда. Он спешит из „Труда“ в „Отдых“…» и так далее. (Это, конечно, не «Табу», а цитата из «Анти-Асаркана».) И сразу отнимают: «Но-но, не смакуйте!» – «Да, читал. Но это же реминисценция». – «Так (записывают)… реминисценция». – «Реминисценция из Ильфа и Петрова». – «А нельзя ли, говорят, подальше выбрать закоулок?» – «Вот видите, и вы пользуетесь реминисценциями, только из Крылова». Я Асаркана ругал потом: какой Крылов? это же Грибоедов! А он: неважно, тот не записывал… А это что за открытка: «Пить надо меньше»?

– Это к тебе не относится. Это Мише. Тебе пить надо больше.

– Ну да, конечно. Асаркан спокоен, не расстрелян.

– Ну и что?

– Он спокоен, не расстрелян, он сидит и задает детские вопросы.

– Я получаю удовольствие, а это главное. Ты вот не сможешь так сказать «ну и что?», чтобы это было к месту.

– Ну и что?

Вопрос «ну и что?» задавался еще раз десять и парировался всякий раз с неожиданной стороны. Потом улеглось. «А ты знаешь, директриса кафе умерла?» – «Да, и тот старик из букинистического отдела». – «Это я знаю. Она замечательная была женщина, разрешила вечер Булата бесплатно, только чтобы написали о кафе в пищевой орган. Я написал, но там не напечатали, сказали, что такой материал был, и совсем недавно». Потом еще вспомнили хорошую толстую официантку и ту, злую, как же ее звали?

Речь, разумеется, шла о кафе «Артистическое». Илья Кабаков в своей книге «60-е – 70-е…»[7] говорит «об утопическом проекте Соостера и Соболева внести элемент художественной жизни в кафе „Артистическое“, в проезде МХАТ, куда вечером собирались художники (якобы „по европейской традиции“), общались, обсуждали события художественной жизни…» И добавляет: «Я не застал его, кафе было вскоре закрыто». Это неверно. Кафе существует и сейчас, только название стало более экзотическим, а облик неузнаваемым: кремовые стены с мерзкой лепниной, расписные потолки и зеркала, зеркала.

Но году в шестьдесят пятом, когда я стал туда заходить с приятелями, трудно было поверить, что раньше кафе выглядело как-то иначе. Интерьер был обшарпанный и довольно типичный: отголоски сталинского ар-деко в смеси с облегченным стилем шестидесятых. Красивые неяркие витражи с внутренней подсветкой. Шаткие столики. Это было кафе второго разряда, видимо, поэтому туда пускали даже старших школьников с рублем в кармане. Демократическая обстановка действовала расслабляюще, и нам дважды не хватало денег расплатиться. Каких-то особых изменений в интерьере я не заметил и через десять лет, когда стал там встречаться с Улитиным.

О том, чей это был «проект» изначально, есть разные мнения. Старожил и знаток московской жизни В. М. Иоэльс излагает это так: зимой пятьдесят восьмого – пятьдесят девятого года он встретил на Кузнецком Мосту Асаркана с какой-то рукописью под мышкой. Тот спросил, есть ли поблизости место, где не идет снег. Иоэльс указал на «Артистическое». Денег было мало, в сущности, не было вовсе. Просидели они долго, прочли всю пьесу Шварца «Дракон» (ее и нес под мышкой Асаркан), выпили четыре чашки кофе. Чашка – пятачок. Их никто не выгнал, даже не попытался.

С того дня Асаркан стал заходить в кафе, потом почти переселился. Назначал там деловые свидания. Подтянулись его знакомые и стали приглашать своих знакомых. Заглядывал Крученых. Но самыми заметными персонажами были, видимо, Улитин, пишущий на клочках, и Юло Соостер, рисующий на салфетках. (В текстах Улитина Соостер имеет свой аббревиатурный псевдоним: ЛХСС – «лучший художник Советского Союза».)

Когда установили кофейную машину, Асаркан вроде бы первым сообразил, что можно требовать «двойной» кофе. Продолжалась эта «парижская» жизнь года два, вспоминают ее и сейчас. «Артистическое» рубежа пятидесятых-шестидесятых – это своя увлекательная история, но я в ней не участвовал и присваивать чужое не хочу.

Все хорошо помнят Хемингуэя и говорят о «Ротонде» и «Куполе», но «жизнь в кафе» – это, видимо, венское изобретение. Поэт Петер Альтенберг еще в начале века сидел в Cafe Central и писал очередную открытку: так он общался с друзьями. (Впрочем, венские кафе рубежа веков предоставляли услуги, которые в Москве нельзя было и вообразить. «Некоторым завсегдатаям предоставлялась возможность получать почту и даже вещи из прачечной».[8])

Есть и другое совпадение: статьи Асаркана были

театральными рецензиями по необходимости, пытались обману ть принудительную форму и выйти в тот жанр, который в свое время называли «венским фельетоном»: «небольшие статьи на разные темы, написанные так, чтобы они напоминали живой, искрящийся разговор… Один из фельетонистов охарактеризовал этот жанр как искусство написать нечто из ничего, при этом речь шла о мастерстве, которое нельзя ни объяснить, ни определить».[9]

Асаркан провел в пригороде Вены одни сутки взаперти и «своим» городом ее не считал.

> Роль Вены как возбудителя Ностальгических Чувств признана теперь во всем мире, о Габсбургской Империи выходит больше книг чем на любую Актуальную Тему, про Венские Кафе нечего и говорить, о них вздыхают все освободившиеся от угнетения народы Центральной (Восточной) Европы, но я на этот сюжет поглядываю без всякого личного интереса, во-первых потому, что никогда не испытывал ностальгии (для меня это вообще карикатурное слово) по чему бы то ни было, а во-вторых мне все интерьеры хороши. «*Убогость*» *не* «*ужасна*».

– Я позвонил ему и спросил, может ли он ко мне приехать. Такие приступы нежности бывают со мной раз в пять лет. «Нет, я работаю!» Он *работает*. Асаркан работает! Оксюморон!.. Так он уезжает или нет? Это будет страшная глупость. Что он станет делать в своем Риме со своими смешными несмешными историями, со своим разговорным языком и ораторским искусством? Что Цицерон будет делать в Риме? В полном собрании сочинений Цицерона не хватает одной фразы, сказанной Цезарем: «В Риме слишком много римлян, которые считают, что в Риме слишком много римлян». Это звучит даже в переводе. Но мы, деловые римляне, мы-то знаем, что слова нужны только тем, у кого нет сил или сребреников, чтобы жить, любить и действовать.

На столе в комнате Улитина много бумаг, вырезок, конвертов и открыток. Одна из открыток лежит совсем рядом, ее можно прочитать, не беря в руки. От Асаркана, старая, ко дню рождения 1970 года. Минималистский шедевр: сквозь плотную штриховку крест-накрест как бы просачивается текст из какой-то старой (с ятями) хрестоматии: «Погода къ осени дождливъй, а люди къ старости болтливъй. Для мышей кошка – самый сильный звърь».

В показаниях разных свидетелей об одном событии всегда что-то не совпадает, но как раз в таком несовпадении, в его двоящемся контуре можно уловить суть события – двойственную,

тройственную, неопределимую.

В рассказах Улитина и Асаркана об их первой встрече совпадает только место действия, а не совпадает прежде всего принцип отбора воспоминаний. Точно можно указать только дату: день-ночь с 12 на 13 апреля 1952 года. По приблизительной реконструкции они сначала услышали друг друга, а увидели уже потом. Из одного купе вагона, временно превращенного в передвижную тюрьму, неслось скандированное чтение первых глав «Евгения Онегина», из другого – быстрый актерский речитатив с частым повторением слов «в благоустроенном государстве». «Потом его провели в туалет, – говорит Асаркан, – под охраной, разумеется, и я запомнил: человек на костылях». Первый разговор был в «воронке», в абсолютной темноте, – то есть и там они различали только голоса. «Вы не знаете, куда нас привезли?» – «По моим подсчетам, это Ленинград». – «Хорошо, что не Томск, – мне пришлось бы выслушать всего „Евгения Онегина“». – «Вы жид?» – «Да, я принадлежу к этой национальности».

Но уже на другой день они смогли хорошо друг друга рассмотреть: их поместили в одну камеру-палату. У старшего голова была обрита, и он время от времени ее поглаживал. «Пожалуйста, не надо проводить рукой по голове – очень неприятный шелест». – «Да-а, вам со мной придется нелегко». Потом старший говорил, не останавливаясь, целые сутки, а младший молчал и слушал. (Вот это я никак не могу представить: Асаркан, молчащий целые сутки.) Еще была история со спичками. Спички – запрещенная вещь, их нужно постоянно куда-то прятать. «На-до положить на самое видное место, – сообразил Асаркан. – Ну вот хотя бы на подоконник, как будто так и надо». И случайная врачиха, зашедшая посмотреть на двух психов, которые разговаривают вот уже двадцать четыре часа подряд, машинально взяла коробок, потрясла – и опустила в карман.

– Там же я стал сочинять стихи, – рассказывает Асаркан, – и насочинял их очень много, и там же я понял, что делать этого не надо. Не в обиду Мише будь сказано. Потом Улитин их куда-то вставлял в своих провокационных целях, а Зиник вообще распечатал, отчасти тоже в провокационных целях, отчасти думая, что так и надо, что это и есть то самое…

– «И психоз маниакально-депрессивный превратить в ликующий театр», – говорит Улитин. – Это стихи Асаркана, старые, несерьезные. Но кто знал, что он действительно превратит… действительно превратит. Сейчас февраль (достать

чернил и плакать), значит, уже раз, два, три месяца я переживаю этот ликующий театр. Сначала – одного актера. Потом ему понадобился второй, и он устроил новый спектакль.

На эту – последнюю для них – встречу мы с Леной приехали первыми, а Саша немного запаздывал. Лена нервничала: «Он еще может и не открыть». Действительно, была какая-то раздумчивая пауза, когда мы позвонили в дверь. Наконец раздались шаги («Шаги командора», – шепнула Лена), дверь приоткрылась, и нас встретил удивленный взгляд Улитина: вы? не он? «Он приедет попозже», – объяснила Лена.

Улитин явно не был готов к тому, что прощание будет таким многолюдным. А ведь кроме нас ему еще был заготовлен сюрприз: Никулин, старый знакомый по кафе «Артистическое». Они не виделись лет двадцать. В письмах Зинику, чтобы не называть фамилий, приходилось обозначать его громоздко и многоступенчато: «однофамилец друга полуперса». И все равно не было уверенности, что Зиник догадается, о ком идет речь. Вот и теперь, невнимательно листая последние письма *оттуда* (сразу подсунутые ему, чтобы занять время), ПП пожаловался жене:

– Вот эти два человека, сидящие перед тобой, они живу т в каком-то своем фантастическом мире. У них свои разговоры, свои герои: Двуглазы, Машуков, Мишутка, – ничего не поймешь.

– А кто был основоположником этого стиля? – парировала Лариса. – За что, как говорится, боролись…

Но потом упрекнула и нас: зачем помогали, зачем собирали, да просто выталкивали Сашу, а он, может, вовсе и не хотел уезжать. Это как это? *Мы* выталкивали? *Он* не хотел?

– Ну, может быть, – согласилась Лариса. – У них ведь не поймешь, оба стыдятся проявлять эмоции, – как он (указала на мужа) говорит, «сантименты».

– А что *ты* ему скажешь, когда он войдет? «На кого ж ты нас покидаешь?» Это ж надо произносить соответствующе – с рыданиями.

Появился наконец герой вечера. Стремительно ворвался, сразу вытащил бутылку венгерского шампанского, завернутую в десять итальянских газет, зашуршал газетами. Какой-то нужен был ему сейчас посторонний шум.

– Это венгерское шампанское «Талисман». Гаевский говорит, что у него вкус шампанского. Его надо выпить без тостов, каждый за себя. Это я вам каждому оставляю по талисману… А что вы, Лариса, на меня так смотрите? Вы, я чувствую, хотите запечатлеть в сердце мой светлый образ. Я вам вот что посоветую: на последнем «четверге» один Мишин товарищ пытался меня

фотографировать. Я всячески сопротивлялся, и за счет этого фотографии получились, как говорят, удачные. Закажите экземпляр!

Потом Лариса уехала по делам, уехала и Лена, но скоро вернулась – не одна.

– Ну, Павел, ты узнаешь этого человека?

– Конечно! Это Гафт.

В первые минуты ПП оживился и даже как будто обрадовался неожиданному гостю. Начал выговаривать (нет, скорее наговаривать) устную прозу в обычной, довольно экстравагантной манере: резко поворачивался от одного слушателя к другому и кончиками пальцев, изгибая кисть, подтягивал полузакатанные рукава. Никулин щурился, зажав рукой нижнюю челюсть, показывая, что все понимает и многое вспоминает.

Но Улитин быстро выдохся, а Саша помалкивал. Тогда в разговор вступил Никулин, и это было ошибкой.

– А помните, Пашенька, ты (вы) дал (дали) мне в кафе листок: там на одной стороне «Еретик» Мачадо в переводе Ильи Григорьевича Эренбурга, а на другой – что? Я могу вспомнить начало, но что это было?

– С ума сошел. Это ж сколько лет прошло!

Все он, я думаю, помнил. Помнил, по крайней мере, что никакой это не перевод Эренбу рга. Но странный этот разговор поддерживать не хотел. А новый гость все-таки понял, что они «на вы».

– Ну, Пашенька, зачем вы так? Я думал, уж вы-то вспомните, – там еще красным было напечатано, а все зелененькое.

– Так красненькое или зелененькое?

– Сначала красным, а потом почему-то переходило в зеленое. Такая копирка.

– В жизни не было у меня такой копирки.

– Это моя была копирка, – не выдержал Асаркан, – ты на моей машинке печатал.

– Не помню. Но вот мое знакомство с Асарканом тридцать лет назад действительно началось с того, что он читал стихи Гильена в переводе Эренбурга: ам-мериканский м-моряк… в харчевне порта… Показал. Мне. Кулак. Это надо произносить очень быстро: ивотонваляетсям-мертвый-ам-мериканскийморяк…

– Вот каких мемуаристов я после себя оставляю. И это еще что! Тут Иоэльс и Вадик Паперный оформляли выставку в Литературном музее – под руководством одного известного дизайнера. И он им – не зная про их знакомство со мной – рассказывает: «Был такой Асаркан, он уже давно уехал. Вот был критик! Ничего не знает, постановку не видел, пьесы не читал, но

за пятнадцать минут до сдачи приносят ему сто грамм коньяка, он садится, и р-раз – готова рецензия! И главное: все в точку. Вот какой был критик! Ухаживал за моей женой». С его женой я действительно был отчасти знаком.

Никулин вернул разговор к листочкам и книгам, но ПП его оборвал:

– Это все прошло. Это неинтересно. Да вы понимаете, наконец, что он уезжает навсегда? А я остаюся с тобою.

Асаркан дернулся.

– Что за «навсегда»? Все еще начнется снова, будут всякие поездки туда-сюда… Нет никакого «навсегда». Идет одна жизнь, потом начнется другая.

И я поверил на секунду, что нет никакого «навсегда». Я – но не Улитин.

– Ты со мной разговариваешь как с человеком на пятнадцать лет тебя моложе. Как с Вадиком. И еще неизвестно, захочу ли я тебя видеть.

Но тут же сменил жанр: одна история закручена с другой, третьей – про какого-то актера, поссорившегося с администрацией из-за того, что не хотел произносить фразу «здесь лежит труп». И еще раз повторил, для непонятливых: «Здесь лежит труп».

– Ладно, хорошо. Но с кем я буду сводить счеты, когда ты уедешь?

– Ну, существуют же письма, открытки. Да и не в этом дело. Как Чехов писал Суворину: главная мечта – быть маленьким лысым старичком, сидеть в кресле, и чтобы никому ничего от тебя не требовалось. А где это будет происходить, где будет стоять это кресло – уже неважно.

Саша нервничал, ему надо было уходить, и он уже несколько раз произносил «ну, ладно, прекрасно» с интонацией «пора и честь знать». Но как-то все не решался встать, сидел, заслоняясь газетой от яркой лампы.

А ПП отыгрывался на актере. Тот как мог защищался:

– Ну, Миша, видели вы когда-нибудь такой спектакль?

– Видел он, видел. У него есть один товарищ, поэт, тот еще не такие спектакли устраивает.

Конец спектакля был не для слабонервных.

– Пашенька, дорогой, ну не расстраивайтесь так, вот я приеду через два-три дня живым свидетелем, живым воспоминанием об этом событии…

– Я вам не открою.

– Я пришлю открытку…

– Я вам не отвечу.

– И не надо отвечать, – я пришлю открытку и просто приеду.

– Да поймите, что я *не хочу вас видеть*.

…

– Ну что ж. Я это переживу.

– Да, вы это переживете.

Все было ужасно. Саша и Лена потом утешали его как могли, говорили, что он отчасти и сам виноват, – вмешался в чужой сюжет, а надо было помалкивать. Что со временем все образуется. Но удивленное, несчастное выражение не сходило с Валиного лица, он был растерян и явно не понимал этих людей, которые дружили без малого тридцать лет, а расстаются – вот так: наспех, без улыбки, без прощального взгляда. «Ну, привет. Я пошел к лифту».

Мы еще копошились в передней, а Саша уже был внизу.

Я потом нашел эту чеховскую цитату. Тот все-таки писал «сидеть за большим столом в хорошем кабинете», а про кресло ни слова. Неважно. В чеховских письмах случаются фразы, абзацы, сквозь которые, как сквозь щелочку, можно увидеть очень многое. «Мне кажется, что жизнь хочет немножко посмеяться надо мной, и потому я спешу записаться в старики. Когда я, прозевавши свою молодость, захочу жить по-человечески и когда мне не удастся это, то у меня будет оправдание: я старик. Впрочем, все это глупо». Письмо 1893 года, сколько тогда было Чехову?

Фотографии с «четверга», о которых говорил Саша, действительно очень живые, хотя у фотографа (С. Файбисовича) не было пространства для маневра и снимать приходилось почти впритык: кое-что высвечено, остальное в мутной тени. Похоже на партию в шахматы. Гроссмейстер обдумывает ход. К сожалению, виден в основном стол. На нем два салата, селедка (Саша ее не ест), масло, хлеб. Много пепельниц и пустых бокалов. На других снимках тот же замечательно фотогеничный объект зажигает спичку; тушит спичку; затягивается сигаретой (хорошо вышел огонек), а в углу моя рука с сигаретой, мой нос и очки. Как в ранней серии Комара-Меламида: вымышленный художник-реалист пишет ровно то, что входит в поле его зрения, поэтому левый угол каждой картины занимает его нос, – художник слеп на левый глаз.

Какие-то воспоминания, удаляясь, превращаются в звуковое сопровождение. На станциях кольцевого метро прохожу к крайним вагонам и всякий раз вспоминаю Сашино замечание: «В последнем вагоне всегда меньше людей – феномен Кольца».

Перед самым его отъездом мы много ездили на метро по каким-то делам. «Смотрите-ка, – показал глазами Саша, – женщина задремала, а лицо у нее счастливое. Редчайший случай. Обычно такое отчаяние».

Не «мудрые указания», а просто случайные фразы. Они прокручиваются в мозгу и становятся *сакраментальными* – как в прозе Улитина.

В период отъезда Асаркана такие эпизоды накладывались один на другой. Шел какой-то гул, и тоскливый, и почти радостный – от лихорадочности, от нервной приподнятости. И вдруг кончился.

Декабрь 80-го, последние разговоры в Шереметьеве.

– Ну, ты уже заготовил заявление для прессы?

– Заготовил: «два двойных, пожалуйста».

– А говорят, у них там и одинарные крепче, чем наши двойные.

– Верно, но мы сначала попробуем как привыкли… Вадик! Ты что-то халтуришь. Чтобы получилось художественно, ты должен куда-нибудь залезать, чего ты не делаешь.

– Смотрите-ка, Асаркан запросил художественные фотографии! Валя, давай на него посмотрим с двух сторон тем долгим взглядом, который он так любит. Заходи оттуда!

– Ладно, пора. Где тут моя знаменитая сумка?

В знаменитой сумке (собственно, авоське) лежал запас сигарет «Шипка», несколько блоков. Было еще одно «место» – пишущая машинка. Такой багаж почему-то насторожил пограничников, они увели Сашу в особую комнату, и он потом показал характерным жестом, что его обыскивали.

Он еще потоптался перед нами, выстроившимися у загородки. «Ну, давайте, запечатлевайте мой светлый образ. Запечатлели? Ну, привет».

И устремился на переход государственной границы.

После Шереметьева мы еще заехали к нему, в уже ничейную комнату, забрать последний крафт-мешок. Там еще оставались кое-какие раритеты: полустарое кресло с помойки, которое стояло раньше в самом центре газетного сугроба (и сам хозяин, я думаю, давно забыл о его существовании). Мельница для кофе, еще что-то. Все как из скифского захоронения, страшно дотронуться. Лена через пять минут запросилась на воздух.

За окном что-то жгли и ревел бульдозер. В комнате стоял запах гари. Казалось, что дом вот-вот снесут и сожгут. Набилось человек пять, негде повернуться. Я почти не шевелился, и все

равно мне мерещилось, что все мои движения – лихорадочные, рыщущие, алчные. Поковырял сверху бумажную груду да и бросил.

Я проходил там недавно по летнему солнцу. Все дома вокруг отремонтированы и выглядят как новенькие, но Сашин дом почти не изменился. Только с улицы вывеска «Салон Красоты» (с большой буквы), а со двора – «Всероссийское общество трезвости и здоровья». Все общество поместилось в одном подвале. Похоже, не так много желающих.

Видел неожиданные надписи на стенах, например: «Я люблю Россию!» Мотивация непонятна. Вообще, появилось много непонятных надписей.

* * *

Восьмого декабря Асаркан уже был в Вене, десятого – в Риме, жил там несколько месяцев, мечтал остаться навсегда, но дело не сладилось.

> С середины января я жил в Остии и приезжал в город на поезде – выходил где-то около Пирамиды и шел пешком к Цирку Марчелло или пересаживался в метро и тогда доезжал уже до вокзала Термини. День за днем я ходил по одним и тем же улицам, не желая никуда сворачивать. *В Ватикан я попал (и вообще перешел на ту сторону Тибра) только в начале третьего месяца*… С самого начала у меня было ощущение что я тут навсегда, хотя «умом понимал» что это не получится (13. 02. 03).

Италия была его всегдашней мечтой. Итальянский он выучил еще в тюрьме, карту страны и план Рима знал (как я потом убедился) лучше большинства жителей этого города, был убежденным итальянофилом. В Москве всегда покупал итальянскую газету «Паэзза сэра». Странная это была мечта: умереть под забором, – но именно под итальянским забором.

«Все скоро умрем под забором», – говорит Зиник. «И осуществится мечта Асаркана, – подхватывает Алена, – только в отношении всех остальных». – «А тем временем его благосостояние растет. Аня рассказывала, что он уже не ест стейки, а выбирает мясо. Не высмеивал ее вегетарианскую диету. Говорил, что она мало уделяет внимания своему здоровью, не обращается к врачу».

Впрочем, однажды Саше показалось, что это у меня растет благосостояние.

«Четверги» не пережили отъезда Асаркана, его отсутствие как-то слишком ощущалось. Но через пару лет появились «понедельники», за ними «вторники». Один из них выдался довольно неожиданный.

Ближе к концу вечера раздался телефонный звонок, я взял трубку того аппарата, что в коридоре. Звонила Алена Р. Поигрывая своим манерным, как бы решительным голосом, она задала мне такой вопрос: не слышал ли я что-либо об Асаркане? – В каком смысле? – Дело в том, объяснила она, что Виктор Новацкий вот прямо сейчас сообщил ей: по какому-то радио сказали, что Асаркан умер. Сам он не слышал, знает от кого-то другого, но и тот узнал от третьего лица. Вот она мне и звонит – за подтверждением.

Такие сообщения, как правило, не бывают ложными, но здесь уж очень все было неопределенно. Я решил временно придержать эту информацию: в комнате, за дверью, сидели Лена Шумилова, Лева Смирнов и еще несколько человек, которым не стоило передавать ее, не проверив. Мне, собственно, тоже не стоило бы. Остаток вечера я следил за лицом, растягивал губы, при любой возможности исчезал на кухню. Получалось неважно – я заметил внимательный взгляд Лены.

Когда все ушли, позвонил в Чикаго и вытащил недоумевающего, слегка рассерженного Сашу из ванной. Очень странно говорить с человеком, услышать которого ты уже не надеялся. Не подводит ли слух? Может, его голос записан на пленку, – или сыграла шутку разница во времени: Саша говорит со мной из какого-то *вчера*, а сейчас уже все непоправимо изменилось, и наш разговор вот-вот прервется вечными длинными гудками…

Я поблагодарил за очередную открытку. Сложная вибрация голосовых связок и сам факт внеочередного звонка не соответствовали такому скромному поводу. Саша явно удивился и заподозрил неладное (алкогольная интоксикация?), но выяснять не стал. Сказал только: «Благосостояние ваше, видимо, растет».

Когда мы впервые опубликовали не фрагментарно и без купюр большой улитинский текст,[10] Саша поздравил меня коротко и деловито, но в открытке к Ларисе, вдове Павла Павловича, выразился более развернуто:

Публикация очень «репрезентативная», дает о прозе

Павла лучшее понятие чем та, которая была в Моск. Наблюдателе, но ultimate goal, я думаю, все-таки – добиться факсимильного издания машинописных листков в их формате, со всеми приписками от руки, приклеенными газетными вырезками, надписями поверх этих вырезок и т. д. Как раз для Поплавка это не так важно, поскольку он и в оригинале имел вид «цельной» рукописи (машинописи), но для вхождения в тон и ритм этой прозы читатель должен видеть всю мозаику и слышать не только мелодию но и – прежде всего – оркестровку. Я понимаю, что надежд на такое издание совсем нет, но надо его ХОТЕТЬ. Иногда сбываются и безнадежные желания.

Потом он и мне писал что-то подобное:

Поскольку (как мне отсюда кажется) в Москве теперь есть все заграничные *прибамбасы* (если я правильно употребил это слово), у вас там должны быть А) цветные ксероксы и В) ксероксы, печатающие на обеих сторонах листа. Если это так – с текстом Ул. можно начинать экспериментировать уже сейчас – до того как найдутся средства для настоящего факсимильного издания. Оно в любом случае невозможно без серии Проб и Ошибок.

Пока не будет факсимильного издания листочков, клочочков и машинописи – никакие предисловия и мемуары не помогут.

Но на обороте той же открытки кое-какой комментарий все же представил:

Обыск 1962 делался не потому, что кого-то заинтересовали улитинские рукописи, а потому, что в Минске арестовали Кима Хадеева, у него нашли (или он распространял среди своего окружения) «книгу» (переплетенную подборку) Улитина под названием Анти-Асаркан и попросили Москву собрать бумаги этих двух гавриков. (У меня обыск должен был быть в тот же день, но я был в Ленинграде; в Москве на вокзале меня встретил Яник, сказал что приходили к У. и лучше бы мне сейчас домой не ехать. Я сказал что наоборот – надо ехать и почиститься прежде чем они придут. Но они пришли через несколько минут после того как я вошел в квартиру. А брали во время обыска ВСЕ ЧТО НАПИСАНО

ОТ РУКИ ИЛИ НА МАШИНКЕ.)

Если будут отклики нынешних модников – не поленитесь сообщить. «В эстетике постмодернизма» писал еще декабрист Батеньков в Петропавловской крепости.

Отклик был, кажется, один: статья Аллы Латыниной в «Литературной газете», довольно неприятная – какая-то снисходительная. Но Асаркан отнесся снисходительно и к самому отзыву:

Латынина ни в чем не виновата. Это нормальная реакция постороннего (нормального постороннего) на непонятный текст, который кажется зашифрованным, а от читателя (думает этот читатель) требуется его расшифровать. Одну цитату опознал, другую нет. Приложил *посильные усилия*, – а чего, собственно, ради?.. Улитина надо вводить не в «литературу», а в «искусство», т. е. ИЗДАТЬ ФАКСИМИЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Оно-то и станет ЛИТЕРАТУРНЫМ (арте)ФАКТОМ.

На мой взгляд, эта рекомендация абсолютно верна. Но с некоторой оговоркой. На Улитина медленно, но верно работает время: оно смещает одну из литературных границ именно в ту сторону, где располагается искусство. И когда речь идет о литературе, уже не надо брать в скобки первую часть слова «артефакт».

Первая крупная публикация Улитина вызвала одну кислую рецензию. Первая изданная *книга* Улитина[11] была за полгода практически раскуплена (герметическая проза!), и на нее отозвались, кажется, все издания, как-то приглядывающие за литературой. Я отследил двадцать четыре рецензии, сколько их было всего, не знаю.

«Чрезмерный тон ранних рецензий может подтолкнуть рецензентов второго эшелона написать все наоборот, чего бы не хотелось», – написал мне Саша. Но здесь он – впервые на моей памяти – не угадал.

На просьбы о фактах и комментариях Саша обычно отзывался неохотно и как-то ворчливо. С выходом книги Улитина ситуация временно изменилась, и я получил несколько очень ценных текстов.

Началось с Марк Твена, любителя всяких усовершенствований, он первый стал подавать свои

рукописи на машинке. Лев Толстой держал еврея-ремингтониста Беленького. Спонтанная проза ПУ не зафиксирована на пиш. машинке, а порождена ею, и без машинки* ничего бы (такого) не было. Второй важнейший фактор, недооцененный вами – кафе, долгое сидение и обрастание людьми. Это и есть моя роль: не „близкий друг“, а Тот кто привел его в кафе.

* без двух: машинка с лат. шрифтом открыла новый путь (2002).

Лучшим временем Соостера в кафе было когда кофе давали потурецки (в джезвах-турочках), а к нему – хворост, печенье похожее на абстрактную структуру. Юло этот хворост рисовал, когда не рисовал рыб (01. 05. 02).

Или вот например **Валя Никулин**. Когда я говорю, что вы слабо прочертили линию кафе – это значит что вы плохо представляете себе как и с кем происходило сидение, общение и записывание. Кроме Моралевича и Ицкова (о чем я писал Лене) при имени Соостера надо было сказать – которого ПУ знал по кафе. Юло сидел и рисовал на салфетках. А Никулина вы вообще проигнорировали. А между тем это был **один из первых (в кафе) поклонников ПУ, ценитель его повадки и читатель его прозы. Он очень старался понравиться Улитину, и ЛШ расскажет вам (если вы спросите) как она с Валей приезжала на Озерную и как плохо ПУ принял Валю, но Валя этим плохим приемом как бы даже любовался.** Вы должны были спросить себя: почему оба упоминания В. Н. соседствуют с коньяком (22. 03. 02).

В ответном письме я вкрадчиво сообщил Саше, что мне вовсе не нужно спрашивать Лену Шумилову о том давнем посещении Улитина, я и сам все помню, даже в деталях. И мне не показалось, что В. Н. чем-то «любовался».

* * *

Оценивая реакцию Асаркана на эти публикации, нужно учитывать еще одно обстоятельство. Каждый автор – о чем бы он ни писал – хотя бы краем сознания пишет о себе. Литература

Улитина в описаниях Асаркана напоминает что-то другое, но очень близкое, знакомое. Эти вот «клочочки», газетные вырезки, вклейки, приписки от руки, «мозаика» – что это?

Это открытки Асаркана.

Улитин уже в пятидесятых годах стал делать многослойные книги-объекты, меняющие привычное представление о самом процессе чтения. Их следовало *одновременно* читать как книгу и рассматривать как графику. Асаркан примерно в то же время занялся изготовлением открыток-объектов (потом это назовут мейл-артом). Имеет ли значение то обстоятельство, что оба много лет просидели рядом в «переплетной» ЛТПБ?

Или Асаркан занялся этим еще раньше? У кого спросить?

Нужно рассказать об открытках.

Даже заполнение обычной открытки – это встреча государственного ведомства и личного текста («встреча меня и государства») на двух сторонах одного листка. Занятие достаточно двусмысленное, а потому притягательное – особенно в те годы. Самодельная или заполненная не по правилам открытка воспринималась уже как нарушение регламента. А отсюда рукой подать до нарушения той – государственной – границы, которую государство провело между собой и своим подданным.

Многие пробовали освоить и переиначить этот жанр. Юло Соостер заполнял чистую сторону открытки очередным рисунком и отсылал по почте тому же Асаркану. Но Саша придумал не другое заполнение, а новую форму. Открыткой могло стать что угодно; любой прямоугольник плотной бумаги (афишки, буклета) обклеивался кусками картинок, газетных/книжных вырезок или фотографий, а для текста и комментариев использовались цветные чернила, потом фломастеры.

Существовали и особые композиционные возможности.

> Драматизм ситуации отчасти передан тяжестью и неуклюжестью оклейки верхнего угла на обороте, с **наддранием**, как писали в официальных сообщениях (в СПб Ведомостях) о прошениях, отвергнутых императором Павлом (13. 10. 99).

Саша владел какой-то особой непревзойденной техникой расслаивания бумаги: от любого листа, даже газетного, он мог отделить неповрежденный верхний слой – почти прозрачный, тоньше папиросной бумаги. Такие отслоения или состыковывались, не давая швов, или накладывались один поверх другого, просвечивали, создавали новую картинку и новую зыбкую фактуру.

Сашины пальцы казались неловкими, он даже сигарету держал как бы в горсти. Но никто не смог перенять эту способность к расслаиванию, она осталась секретом мастера. Может быть, только Вадик Паперный, – а иначе как объяснить следующий текст:

> Еще о Вадике. У нас с ним была открытка, которую мы пересылали друг другу лет десять, доклеивая и утяжеляя, слой поверх слоя, но так, чтобы и нижние были видны. Потом она осела у меня еще лет на пять, а потом я 7 декабря 1980 послал ее ему НАПОСЛЕДОК. Теперь я получил ее от него к 26 марта, и уже приготовил к отправке к 19 мая. При этом я в одном месте вскрыл несколько слоев и заклеил образовавшуюся яму скотчем с надписью Земляные Работы. Главную поздравительную надпись я сделал белилами, которыми закрашивают ошибки на пишущей машинке – эффект необычайный и открытие нового материала, как бы специально созданного для работы ПОВЕРХ (30. 04. 82).

Некоторое время Асаркан писал обзоры для газеты «Новый американец», но как-то не прижился, а время и деньги на открытки находились всегда. Больше двадцати лет они шли из Америки бесконечным потоком по адресам, количество которых трудно выяснить и даже предположить: пятьдесят? сто? еще больше?

Только у меня этих открыток целая коробка, а я ведь далеко не главный корреспондент. Тематика первых лет – в основном архитектура города Чикаго.

> Неизвестных зданий еще много – гораздо больше, чем открыток в продаже («мой Чикаго» – это вообще не downtown, а показать его с помощью открыток не удается), количество же корреспонденции (отправленной, а уж как там ее доставляют – ВАШЕ дело) определяется строго соблюдаемым принципом: ВСЕГДА отвечать на ответ и ИНОГДА добавлять что-нибудь По Поводу. Случалось – и может еще случится, – что по категории ИНОГДА отсылается больше, чем по группе ВСЕГДА, но *генерализировать* такие случаи нельзя. Зато Вы можете регулировать почтовый обмен по первой группе (1982).

> Горячо приветствую такой способ отвечать на все разом. Именно это мне и нужно – перечисление

полученного. В своей почте я ничего не хочу (и не имею) сказать – кроме одной вещи, которую сказал давно, – я хочу только показывать, и подтверждение, что БЫЛО ПОСМОТРЕНО, дает мне полное ощущение плодотворного контакта (25. 05. 82).

Не знаю, когда мне надоест все это называть и перечислять. Терпите.

Однажды Саша поинтересовался, какое впечатление его архитектурные открытки производят на настоящего архитектора – то есть на Сёму Файбисовича. В ближайший вечер я вытащил всю груду и разложил перед Сёмой, а заодно – Левой Смирновым и Фульмахтом. Пока Сёма рассматривал открытки, возникла некоторая пауза. Первым не выдержал Лев:

– Ну, скажи ему, что мы видим эту архитектуру не такой, какова она в действительности, а какой ее представляют открытки. А тенденция *их* открыток в корне отличается от наших: они не подчеркивают масштаб и этажность, а наоборот – приглушают, стараются подать как-то интимно, – через листву там…

– Вообще-то Саша интересовался Сёминым мнением, – неделикатно заметила Алена.

Сёма поднял глаза от открыток:

– Ну… Такое впечатление, что Саша попал в столицу передовой архитектурной мысли, – и посмотрел на меня виновато.

Сказать я хочу насчет дружбы с авангардистами: она заслуживает всяческого одобрения, если учесть что все они в последние годы кончают примерно одинаково, а именно так, как я давно уже вам (и всем) желаю. А там (там) можно будет стать и консерватором (не говорю ретроградом, потому что по нынешним временам ретроградство – род авангардизма), но только приналягте на теннисный роман. – Должен ли я понять картинку в конце письма так, что у вас заработал телевизор, стоявший на полке? Раньше бы я это горячо приветствовал, теперь вижу в этом только помеху. И не в телевизоре счастье, а в телевидении. – От Теоретика Вадик получил письмо: все в Германии ругают Америку и стараются в нее уехать. Это явление нам знакомо: в самой Америке тоже все ее ругают и тоже стараются закрепиться в ней попрочнее (17. 03. 82).

Или вдруг:

ПОЗДРАВЛЯЮ С ВИРТУОЗНО НАПИСАННЫМ АДРЕСОМ. Непонятно только, зачем название страны указано по-английски; здешней почте оно не нужно (09. 84).

Отыскалась Доминик: 4 марта у нее родился сын, названный Эдуардом – «Эдичкой», пишет она, добавляя, что вспоминала при этом Лимонова. **Пришлось ей врезать** (04. 82).

Это замечательно, что дошел выставочный пакет, но хотелось бы знать большой или малый, потому что их было два. Не зная буржуазного искусства, не могу судить в тупике ли оно (да и зная не мог бы судить), сам же я ничего плохого в тупике не вижу: добравшись до него, вы защищены по меньшей мере с одной стороны, а при полной удаче – с трех, и тогда остается замуровать вход, после чего можно заняться творческим трудом: изобретением лазейки для незаметных вылазок в окружающую действительность и быстрого возвращения обратно (24. 09. 87).

Если под литературой понимать всякие вообще публикации (приехал студент и привез литературу), то ею здесь интересуются достаточно, судя хотя бы по количеству издательств, которым не угрожает банкротство. Интересуется ли кто-нибудь литературой Саши Соколова – сказать действительно трудно, но это не критерий для оценки страны, особенно такой, где один директор школы (у нас в Иллинойсе) еще в 1955 году установил, что предполагать, будто каждый мальчик должен быть способен* читать, так же нелепо (или нелогично), как предполагать, что каждый мальчик должен быть способен играть на скрипке.

* – можно перевести и УМЕТЬ (be able), но можно и БЫТЬ В СОСТОЯНИИ, так что неуклюжесть конструкции вводит вас в лабораторию мысли этого директора (09. 89).

Вдогонку за еще не отправленной открыткой, где упоминается иллинойский директор: полемическая книга (1987) чикагского профессора Аллана Блума The

Closing of the American Mind (в моем вольном переводе – Затмение американских умов) о катастрофических результатах американского пренебрежения книжной культурой, особенно классическим (античным) наследием, – книга, неожиданно для автора и издателей ставшая бестселлером, – была сперва расхвалена* интеллигентными рецензентами (и неинтеллигентными тоже) за Горькую Правду, а потом обругана** еще более интеллигентными (левыми) авторами – при том, что Allan Bloom сам ужасно левый, – за недемократичность и высокомерие: такое образование доступно только шибко грамотным, а куда же деваться бедным неграм. А между тем у них есть и собственная культура: маски, барабаны и ритуалы.

* в New York Times Book Review

** в New York Review of Books (09. 89).

Миша, на этой неделе оказалось, что мне нужно содействие по книжной – вернее по библиотечной – части от кого-нибудь, кто живет в России, и я лег на кровать чтобы подумать к кому можно с этим делом обратиться. Выбор у меня, надо сказать, невелик, да и на тех надежды плохи. Я так и заснул, никого не придумав. А потом проснулся как от толчка с каким-то очень ясным сознанием, что просить надо Вас. Может быть это, как говорит царь у Бориса Шергина, *оптический обман зрения*, но уж теперь ничего не изменишь – излагаю свою просьбу.

Не помню когда и где (едва ли не в Бутырской тюрьме, где в психоизолятор приносили пять книг на десять дней какие случатся под рукой*) мне попался маленький сборник то ли стихов и переводов то ли только переводов некоего М(ихаила?) Фромана, изданный (до войны) видимо сразу после того как он умер, как это обычно решают в дни похорон… Запомнил я из этой книжки только перевод из Киплинга: Сказание (а может не Сказание) об Анге (а может не об Анге) – это стихотворение 1894 года The Story of Ung, и вот сейчас оно лежит передо мной…

Конечно, это стихотворение может существовать и в других переводах и вообще «известно каждому» – всякая дополнительная информация может открыть мне глаза на мое невежество и я ее приму со смирением. Но потребности такой у меня (уже) нет.

Да и вся просьба в целом, сами понимаете, не первостепенной важности. Первостепенных важностей у меня, я думаю, уже не будет никогда – не помню когда они и были. Хотя в феврале сюда могут приехать из Лондона Platt'ы – Аня, ее муж и их сын, – и я очень волнуюсь, сумею ли я с этим визитом справиться. Но когда от этого начинает болеть сердце – я успокаиваю себя (его) что и это не важно.

* Случились же Поэзия и Правда Гёте, Красная Комната Стринберга, толстый том об истории рукописей и списков Горя От Ума – это легендарная библиотека, составленная из книг, конфискованных у Врагов Народа.

Миша, ко дню рождения я получил во-первых десять томов Пушкина, а во-вторых три страницы Театра № 11 в виде ксерокопии. Ваши стихи, конечно, искуснее, зато Пушкин с бóльшим искусством выбирал эпиграфы, посвящения и цели, так что мне понравились оба подарка. (Пушкина мне подарили местные жители, но выписывать его пришлось из Нью-Йорка, здесь не нашли, а Театр прислали более культурные люди из Бостона вместе с чеком на сумму прожитых мною лет – я думал, что их много, но посмотрев на чек подумал иначе.) Вас, как я понял из телефонного разговора (с Леной Ш. и Леней Гл.), сейчас нет в Москве, но позже мне бы хотелось узнать что значит притырок. Или хоть какая это часть речи.

Дату на этом письме обнаружить не удалось, но понятно, что год 1989-й, когда в журнале «Театр» были опубликованы мои стихи. Одно из стихотворений было полупрозрачно адресовано Асаркану, и энергичный редактор украсил его посвящением – для остроты сюжета. Посвящение и слово «притырок» сошлись в нем как несчастный случай и мучили меня еще много лет.

Если бы меня спросили, откуда начинать открытие внешнего мира, я бы ответил, что **вообще-то**, конечно, с Рима, **но хорошо бы**, чтобы дорога шла через Дубровник*. ПОЗДРАВЛЯЮ С ОГРОМНОЙ УДАЧЕЙ! Это одна из лучших новостей, дошедших до меня в последнее время. Дубровник всегда был «моим» городом (и вместе с итальянской театральной хроникой я поставлял и хронику летних Дубровницких Игр, каждый раз напоминая читателям, что Далмация – это шекспировская Иллирия), хотя в том, что я о нем читал,

были и указания на некоторую его искусственность: в XIX веке ему, по-видимому, добавили средневековости. Вам, полагаю, к таким улучшениям не привыкать, а в данной поездке все равно не в этом было дело, главное же – что вы климатически и можно сказать физиологически были у истоков и классической цивилизации и варварской, так что теперь вас можно перенести в самый беспочвенный город самого желтого дьявола: у вас уже есть ощущение контекста. Теперь можно ехать туда, где обслуживание на высоте.

* Оттуда ходит паром в Бари, после чего вы можете ехать или в Неаполь или прямо в Рим (28. 07. 88).

* * *

В 1994 году я был на побывке в американском городе Анн-Арбор. Позвонил Саше, сказал, что я, в общем, неподалеку и могу дня на два приехать в Чикаго. Он явно обрадовался: «Миша?! А я вот только что закончил открытку для вас о премьере „Мастера и Маргариты“». Пауза, и уже другим тоном: «Да-а, пропала открытка».

Саша за эти четырнадцать лет изменился: пополнел, и его как будто мукой обсыпали. Глаза немного ушли внутрь, изменилось выражение лица. Но я быстро привык – или это изменившееся выражение не было окончательным, а появилось только в момент встречи. Оно казалось уклончивым и как будто опасливым. Я потом гадал, чего он, собственно, мог опасаться? Что брошусь с объятиями. Что начну лихорадочно рассказывать про общих знакомых (и их кончины). Что ощущаю себя Большим Человеком. Опасения не оправдались, Саша успокоился и разулыбался.

Его чикагская конура была получше московской, но фактура восстановлена в точности. Впрочем, скоро придется переезжать, потому что «на этот дом уходит весь мой доход». Очень часто его объяснения начинались рефреном «когда я разбогатею». Видимо, герметический юмор. Например: «Когда я разбогатею, куплю себе здесь кондоминиум», – и он указывает на большой дом в центральной части города. «Почему именно здесь?» – «Внизу супермаркет, и можно вообще не выходить». (Я вспомнил, как Иоэльс грустно и торжественно цитировал Сашину прощальную фразу: «Теперь до приезда следующего москвича из дома не выйду». Он воспринял ее как жалобу. А это была мечта.)

Как раз в день приезда я получил кое-какие деньги, из-за чего приехал не ранним утренним поездом, как намечалось, а

дневным. Сообщение о вынужденном опоздании вызвало большой телефонный скандал. Приезд в Чикаго в пятницу вечером абсурден: я не увижу будничной толпы; главная достопримечательность (какая-то контора) будет уже закрыта и недоступна. Намеченный экскурсионный маршрут летит к чертям собачьим. А еще он хотел накормить меня там настоящим чикагским хот-догом, в Нью-Йорке такого не дадут, а дадут какую-нибудь подделку, что только усилит антиамериканские настроения, и без того распространившиеся в России. Собственно, приезжать уже незачем.

Все эти соображения Саша излагал с таким напором, что я спросил, надо ли вообще приезжать. «Как хотите». Я все-таки приехал, предвкушая в том числе и долгожданную финансовую независимость. Но напрасно. Хозяйка дома, в который Саша пристроил меня на ночлег, сочла нужным предупредить: пытаться за что-то платить бесполезно, все равно не получится, ни у кого пока не получилось. Только лишнее раздражение.

Мне кажется, я никогда еще так много не ел. Он кормил меня как на убой, а напоследок, действительно, чуть не прикончил. Мой обед уже стоял на столике, а я все пытался перепаковаться поудобней, освободить руки.

– Миша, Миша, это же деменция. Сейчас вы начнете застегивать свою сумку, как женщина в очереди. Пока вы занимаетесь всякими глупостями, стынет ваш суп-брокколи, а его надо есть горячим! И не ложечкой, а выпивать сразу, большим глотком.

На большой глоток я интуитивно не отважился, только осторожно пригубил. Сильно обжег губы, но все-таки не обварил внутренности.

В Чикаго оказалось много достопримечательностей и помимо закрытого на выходные учреждения. Два дня мы бегали по городу, и Саша про каждое здание сообщал мне, кем и когда построено, какие при этом были сложности и что писали местные газеты. Заодно историю города, отчасти и страны. Общий объем информации примерно соответствовал пухлому путеводителю.

К концу второго дня я начал уставать. Открытое неповиновение принималось сочувственно, но отсебятина не приветствовалась. Замечаний разного рода тоже хватало. «О! Кошелек! Правильно: денежка в кошелечек!» На мою фразу о женских преимуществах мулаток: «А вот такого сорта наблюдениями вы будете делиться со своими приятелями в Москве», – и строго взглянул из глубины диоптрий.

– А что это вы все к блокноту прикладываетесь? Вы что –

писать что-нибудь об Америке собираетесь?

– Да что вы, Саша, как вы могли подумать? Просто привычка, так я устроен.

– Понятно. Вот у вас теперь все ищут русофобов, а настоящий русофоб всего один – Милан Кундера. Написал где-то, что русские любят себя так аттестовать: я, знаете ли, такой странный человек, я так странно устроен: то мне весело, а то вдруг грустно.

Совершенно верно, именно так я и устроен. Вдруг стало грустно, а эти воспоминания показались драгоценными. Все забегаловки, куда он водил меня есть gyros у православного ассирийца или пробовать сицилийскую марсалу. По центру Чикаго бродит много странных людей, но оглядывались только на него. И не потому, что одет *плохо*. Сливочного цвета пиджак был совсем неплох: почти новый, разве что чуть широковат в плечах. Но разные части туалета совсем не подходили друг к другу, как будто их сорвали, не глядя, на бегу, с магазинных вешалок.

– Он наверняка приедет вас провожать, – сказала Марина Кузнецова, чикагская знакомая Асаркана. Я был совершенно уверен, что *не* приедет, но на прощание позвонил, сказал, что вот, кончилась моя американская гастроль, уезжаю, и, кстати, – из чикагского аэропорта. Он действительно приехал. Вручил мне – «в дорогу» – книжку Чалидзе, газету и плоскую фляжку виски «Джим Бим».

– Кузнецовым вы, разумеется, не позвонили?

– Разумеется, позвонил. У вас вообще довольно странное обо мне представление.

– У меня странное представление не о вас конкретно, а о вас в целом. Вы же не позвонили мне тогда, не сообщили, благополучно ли добрались до Анн-Арбора.

Я отчасти могу понять, из чего складывалось это странное представление – о нас в целом и обо мне конкретно.

> Миша, открытку с замечанием, что от меня миллион лет ничего не было я получил спустя две или три недели (или месяц) после того как послал свою просьбу не упоминать меня в предполагаемом сочинении об Ул. – о существовании такой угрозы я узнал из телефонного разговора с другим упоминателем, Ю. А., когда он звонил из Бразилии. На случай если та просьба (тоже на открытке) не дошла – еще раз объясняю, что называть в печати частных лиц, сведения о которых вы получили

частным же образом, неприлично без их согласия – ПОКА они еще живы, а иногда и позже. Ссылка Ю. А. на то, что А. Св. «тоже» намерен назвать меня по имени в сочинении о кафе, к данному случаю не применима, потому что кафе – место публичное, и можно знать всех кто там сидит без личного с ними знакомства.

– «намерений посетить Москву» у меня нет (28 мая? марта? 1990).

Вслед пришел красивый коллаж с текстом на двух языках:

«There is a great need for Cleanness, Decency and Peace to be restored to this Earth, ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ». («Есть огромная потребность в том, чтобы Чистота, Порядочность и Мир были восстановлены на этой Земле».)

Первую просьбу я действительно не получил, а когда пришла вторая, рукопись была в типографии, и я уже не мог остановить печатный станок. Мне нужна была в тексте одна его фраза, только она могла соединить разваливающуюся надвое статью об Улитине. Всего лишь. Но я, в общем, знал, как Саша относится к таким цитатам, и сейчас просто не могу объяснить себе, почему не посчитал нужным к этому прислушаться. И черт бы с ней, с этой фразой. Да и с этой статьей.

У советских людей нет морали, но есть корпоративная этика. И мы (взявшись за руки для храбрости) коллективно нарушили одну Сашину личную заповедь: требование анонимности; приватности. И он махнул рукой на наше воспитание: безнадежно!

Я, собственно, хотел написать что-то вроде искусствоведческого исследования про Сашины открытки. И не знаю, зачем пишу что-то совсем другое. Зачем продолжаю это сомнительное дело.

Впрочем, знаю.

Мне нужно понять «смысл сказанного». Нужно понять, *каков был вопрос*.

Мне необходимо помнить Асаркана так хорошо и точно, чтобы представить его реакцию на сегодняшние действия, события – и не ошибиться. Ни на кого другого я так не оглядываюсь. Этот театральный человек никогда не опускался до позы – до наигранного «представления», не обеспеченного реальным опытом. Рядом с ним все обыденно-ходульное,

ненамеренно претенциозное вдруг (и почти без его участия) *обнаруживалось*: обнаруживало свою суть. Став заметными, эти вещи сразу становились непристойными.

И только-то? И этого достаточно? Да, этого достаточно.

Частота почтовых отправлений не изменилась, но постепенно в Сашиных открытках начало проступать какое-то подобие *письма*.

> Предстоит избавиться от книг и бумаг, которые я **посчитаю** лишними – не потому, что там для них будет меньше места (новая квартира очень похожа на мою нынешнюю, и по размерам тоже), а чтобы встряхнуться. Потом обрасту снова.
>
> Мне очень хотелось бы (и это не связано с переездом) сжечь все полученные от кого бы то ни было письма (и многие мои бумаги), но нет такой печки или места для такого костра, а просто выбросить их («на помойку») *я*, конечно, не могу. Так, наверно, с ними и умру. (После чего их выбросит уборщица) (20. 07. 97).

> А действительно **ужасную новость** я узнал о Гоголе: что он был **очень** маленького роста. В гимназии его звали таинственным карликом. Совершенно другими (для меня) становятся *все* рассказы о Гоголе, *многие* его сочинения и *большинство* догадок почему он был таким а не иным. В мое время об этом не писали, или я не читал, он мне казался худым, даже тощим, а ростом уж конечно выше Пушкина, а теперь надо все (о Гоголе) начинать сначала, что мне даже и не по силам. И как меняется роль его носа (не «Носа», но и его тоже), и Хлестакова, и чтение Пушкину повести об Ив. Ив. и Ив. Никиф., и набожность, и Выбранные Места – ВСЕ ЗВУЧИТ ИНАЧЕ (02. 05. 97).

> КАК БЫ – после трех газетных выступлений (Книжное Обозрение, Арг. и Факты, Общая Газета) против засорения русского языка этим оборотом – КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ.
>
> Теперь в России засчитывают год за три (даже на Общих Работах), и оттуда теперь приезжают все такие умудренные, утомленные и через-все-уже-прошедшие (и так же пишутся доходящие сюда газеты-журналы), что не знаешь как к вам и подступиться. Западники дряхлеют и

становятся патриотами, но (слава богу) не агрессивными а КАК БЫ после инфаркта. – Что и имел в виду Карамзин, говоря что МЫ ЗРЕЕМ НЕ ВЕКАМИ А ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.

(А действительно: чем объяснить это вечное «как бы»? Может, общей неуверенностью в правильном словоупотреблении? Или я уже цитирую непрочитанные «Аргументы и факты»? Едва ли.)

Ах, это была круглая дата – *а мне-то и не скажет никто*, как говаривала Настасья Николаевна Хитрово: она не любила слышать о покойниках, и если узнавала что кто-то умер – устраивалась так, что ей об этом не объявляли, а через две недели она спрашивала где мол такой-то – когда это была уже старая новость и не нужно было на нее отзываться с чувством. «Тем дело и кончится, и об умершем больше нет и помину» («Рассказы бабушки»).

Почти ни об одном знакомом (кроме тех, кого я застал школьниками и помню в каком они были классе) я не знаю кому сколько лет – теперь, впрочем, это изменилось в категории 65–75, тут я все примериваю на себя. 12 ноября – 70-летие Димы Гаевского, 16 ноября – Ю. Айх., далее везде. Теоретически 50 – это начало освобождения от многого что казалось (или даже было) важным и необходимым – куда пойти, о чем позаботиться, чего «не пропустить», – но в наше время мало кто это умеет и дотягивает до возраста старческих недомоганий. *Мой пример никому не наука, потому что мне 70 исполнилось в 40 если не раньше, а 50 вероятно в 30*. (Я говорю о самоощущении; вынужденная суета в поисках пропитания – это другое дело.) Надо быть или молодым или старым, а «средний возраст» унизителен.

Журнал НЗ у меня есть – № 1, а еще есть два номера На Посту и четыре НЛО, спасибо Лене Шумиловой. Интеллигентный ПОФИГИЗМ хуже пофигизма плебейского, но «этиографическая» (Нравы и Обычаи) ценность есть и у него.

В приведенной открытке есть интонация личного сообщения, достаточно необычная. Возможно, Асаркан выбрал такую эпистолярную форму (открытки), чтобы как раз избежать «открытости». Никто ее как будто и не ждал.

Когда такие сообщения стали просачиваться сквозь коллажи, заметки и массивные описания американских радостей, я

поначалу принимал их как случайность, – своего рода оговорку. Но общий тон открыток менялся, а в 1999 году изменился настолько, что пришлось задуматься о причинах. Не то что Асаркан принял меня в ровесники, но разница в возрасте как будто уменьшилась. Мы *как бы* подравнялись.

ВОТ ОНИ КОМПЬЮТЕРЫ ДО ЧЕГО ДОВОДЯТ.

Про инфаркт мне сказала Лена Шум. В новогоднюю ночь (хотя – добавила она – шампанское он сегодня пил), а потом я просил Лёню Гл. чтобы мне кто-нибудь сообщил как у вас дела (никто, конечно, не ответил), и до полученного сегодня (9 марта) письма ничего не знал, так что не мог ничего писать или посылать. *Итак, у вас ПЕРВЫЙ ИНФАРКТ – живут люди и с третьим, – и это значит что* ***наступила старость****. Это надо осознать не физически, а интеллектуально (психологически и эстетически вы это уже осознали когда вам понравилась Вена), по новому расположив предпочтения и приоритеты. Читайте классиков.* ***И вторая половина жизни будет не хуже (и не короче) первой*** (03. 99).

Ваше сегодняшнее письмо было большим сюрпризом и утешением, потому что последнее время я только и слышу «Мише плохо», «шунтирование», «а он курит и сидит в ОГИ» (т. е. сжигает себя) – последнее сказала вчера, в свой день рождения, Л. Ш. по телефону… *Никогда, никогда, особенно в свете шунтирования, не называйте УЖАСНЫМИ дизайнерские проекты, сделанные в Манхеттене. Это лишнее. Ужасны только инфаркты, инсульты и отнимающиеся ноги.* С настроениями, капризами и неприятиями пора кончать, и поскольку мне («в моем возрасте») это ясно, я отказываюсь от своей многолетней вражды к московско-еврейским именам Алена, Арина и Дарья, чем надеюсь подать вам хороший пример. **Привет Алене!** (19. 09. 00).

* * *

Почерк Асаркана становился все менее разборчивым, но параллельно совершенствовался навык его дешифровки, так что прочтение очередной открытки требовало примерно тех же усилий. Для нас все оставалось на прежнем уровне. Свежие читатели не могли понять ничего.

ПРАВИЛЬНО ЛИ Я ДЕЛАЮ (ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ) НАЗЫВАЯ ДОКТОРА ВЕКСЕЛЬМАНА ВРАЧОМ-КОНЦЕПТУАЛИСТОМ? При выписке из больницы (в июне) мне было назначено то и сё, и в том числе – позвонить доктору по диабету – в той же больнице. Я сделал это только через три месяца (и то по совпадению обстоятельств) и вот был у него уже три раза. В первый раз он спросил: зачем вам врач? во второй – Чего вы ждете от меня? третий – см. на обороте. Он молодец.

Обучив меня измерять (со специальной машинкой, которую мне (по его рецепту) выдали в аптеке) сахар в крови и получив ужасно высокий показатель 320 («а сколько надо?» – «Сто!»), он спросил меня: **Хотите лечиться?** Я ответил: **Не очень. НО ОН НЕ ОБИДЕЛСЯ и даже, кажется, не удивился** (19. 10. 01).

ВЧЕРА (24. IV) я отправил вам ДВЕ ОТКРЫТКИ в ответ на два полученных накануне конверта – с письмом и с Ниной (Нинелью) Воронель, – **НО**, вернувшись домой и провожая умственным взором ушедший день, я вдруг **УВИДЕЛ** (умственным, повторяю, взором) что на первую открытку я наклеил **не** марки 37 + 23 + 10, что составляет нужную сумму 70 центов, а 37 + 10 + 10, и тогда судьба открытки может сложиться по-разному: не заметят и доставят вам; вернут мне; соберутся вернуть но потеряют. БУДЬТЕ ГОТОВЫ КО ВСЕМУ КАК ГОТОВ КО ВСЕМУ Я. Плохи мои дела, если я прав и марки наклеены неверно, но если я неправ – мои дела ***еще хуже*** (25. 04. 03).

На одной из открыток, пришедших в начале мая, марки действительно были наклеены в том самом порядке: 37 + 10 + 10. Но американская почта, к счастью, не очень внимательна.

В лучшие часы хожу как Улитин, но медленнее и устаю скорее. «Устаю» – значит возвращается **адская** боль.

Реальная ситуация все больше напоминала один мой старый сон – еще в первые годы знакомства.

– из какого-то сада, из телефона-автомата я звоню Асаркану. Голос у него одышливый и прерывающийся. Я собираюсь с духом, чтобы сказать ему что-то важное, но он это чувствует и с какой-то злостью обрывает: «Так что, Миша, не можете вы мне помочь? Мне нужны пятьсот рублей». Я стал лихорадочно, но и как-то

замедленно, вяло соображать: где бы достать? Нет, негде. Не у кого даже занять такую сумму. Но он смягчился, что-то пробормотал о более близких планах, но не сегодня, – только не сегодня. Я спросил про Гаевского, он не ответил, и молчание было долгим, неоправданно долгим, уже непонятным. Потом как будто хрип в трубке. И я понял, что ему плохо, что там, на другом конце провода обморок, припадок, инфаркт. «Вам плохо? Что с вами?» Опять бормотание: «…нет… нет… да…» «Я приеду сейчас. Приехать мне?» Нет ответа. Я вышел из кабинки, и вялое оцепенение сдавило меня, такие ватные движения, так не хочется думать, все как тогда, когда он попросил денег —

Уже в 2003 году, на излете нашей переписки, в ней возник отдельный сюжет, пародийно оттеняющий все последующие усилия мемуаристов и как будто специально приготовленный *под занавес* – в назидание.

> Вы писали что знаете человека, редактирующего Вести, где он (М. Зайчик) напечатал или обещал напечатать П. У. Нельзя ли узнать у него про сочинение Нины («Нинель») Воронель 26 декабря 2002 под заглавием «Айги и Ас.»? – что она нашла тут общего. Вы писали также что и сам Г. А. вдруг меня вспомнил, крайне недостоверно соединив меня с людьми о которых я ничего не знаю. А теперь мой сосед с 4-го этажа, лауреат Сталинской премии и Строитель Московского Метро (первой очереди), год рожд. 1915, принес мне страницу этих Вестей где напечатаны комментарии к этому тексту – беседа с сыном моей опекунши: он тоже меня знал и может рассказать еще много чего. «Я помню, его уголок за занавеской посетил Ролан Быков, Юлия Борисова, Наталья Гундарева и другие артисты Театра имени Вахтангова». – Не только никто **не** посетил, но не было и занавески. Ну, с него взятки гладки (в юности ему принадлежало суждение о телефоне: – Хорошая вещь телефон: надо куда-нибудь позвонить – взял и позвонил), а про супругов Воронель (она там поминает и мужа Сашу) и Генку хотелось бы узнать (03. 03).
>
> Спасибо за Воронель, теперь я спокоен. Я видел ее с мужем один раз в кафе, а у Генки в избе был тоже один раз, но без нее, без поэтов и без Москвича (21. 04. 03).

Среди тех же апрельских открыток прибыл текст непонятного направления:

> В книге В. П. Козлова История Государства Российского Н. М. Карамзина В Оценках Современников (изд. Наука, М, 1989) процитировано письмо казанского историка Арцыбашева археографу Д. Языкову (1818) с обличениями Карамзина за ***безобразное смешение*** **посторонщины**, ***недоказательности, безразборности, болтливости и преглупейшей*** **догадочности**. Болтливость как видите не подчеркиваю (28. 04. 03).

Из текста открытки нельзя понять, кому на этот раз досталось за посторонщину и преглупейшую догадочность, – относится ли отзыв к каким-либо моим сообщениям или к мемуарам Н. Воронель. Мне почему-то хотелось извиниться за посылку этого произведения, хотя не я его писал и послал не по своей инициативе. Я его, по существу, и не читал, только выхватил несколько строчек в разных местах: «Когда вся водка была выпита, лысоватый лидер поэтов, который оказался знаменитым московским гуру Александром Асарканом, попросил подвезти его домой. Мы втиснули его на заднее сиденье, в просвет, оставленный четой Богатыревых, и по пути попытались выяснить, чем же он так знаменит». И т. п. Не думаю, что сын опекунши написал много хуже. Но Сашу оно чем-то заинтересовало.

> Я все еще разгадываю сны Нинели Воронель – без фрейдистских штампов (а кроме штампов я ничего не знаю) и без слишком легкой отсылки к старческим слабостям, – и продолжаю вчитываться в этот как бы мусорный текст. Вот например она посадила меня в машину **между** Костей Богатыревым и его женой – слово «просвет» надо понимать именно так, – но ясно, что посадить меня можно было только с краю, а на самом деле я с Костей встречался ВСЕГДА на ступенях Центр. Телеграфа, откуда он отправлял письма Эриху Кёстнеру, чью книгу Мальчик из спичечной коробки в своем переводе он подарил мне С ЛЮБОВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ, и я, зная его очень мало, с тех пор всегда о нем думал.

…и я, зная его очень мало, с тех пор всегда о нем думал.

* * *

К концу 2003-го Асаркан уже не вставал с больничной койки, и редкие посетители не всегда могли вернуть его к реальности. До нас доходили странные, часто искаженные слухи. Вроде бы

Оля разговаривала с ним по телефону, он отвечал на ее вопросы, а потом вдруг спросил (с понятным раздражением): «Ты не знаешь, зачем Шумилова нагнала сюда эту толпу московских людей?» Какие-то наши заместители обступили его толпой, заполняя гаснущее сознание. Господи, думал я, за что? Лежать под капельницей, в чужой стране, уже без их языка и почти без сознания, но в плотном окружении наших надоедливых бесплотных двойников. Есть от чего прийти в раздражение.

Потом последовали кое-какие уточнения: сказал он это не Оле по телефону, а Бетти, когда та пришла его навестить: «Уехала уже эта московская команда моих спасателей?» – «Каких?» – «Ну, что стояли тут вокруг меня. Глезеров их нагнал».

Второе уточнение: не «команда спасателей», а евреи-ортодоксы, которые – по наущению Глезерова – молятся за него и *не отпускают*.

Потом Саша – по многим признакам – умер, но прилетели из Лондона девочки (дочки), и он воскрес, общался с ними, его даже перевели в другое, не такое «крайнее» отделение. Все кончилось еще через две недели, первого февраля 2004 года.

* * *

Едва ли мне удалось хоть как-то объяснить, что за человек был Саша Асаркан. Нет ничего привычного и знакомого, что можно привлечь для сравнения. Трудно объяснить даже, кем он был для меня и еще многих – не самых близких, не личных его друзей. Сам *род* знакомства не подходит под какое-либо принятое определение. Старший товарищ? Наставник? Учитель? Пожалуй, последнее, – если иметь в виду, что учительство и поучительность вещи противоположные. Учитель задает загадки, а не разгадки. И главной загадкой всегда является он сам.

Асаркан был для нас учителем, потому что в загадочности его облика и поведения ясно читалось предложение о мире – о *новом* мире. Он даже не предлагал это, а почти навязывал – с помощью разнообразных – часто тончайших, иногда довольно резких – провокаций. С ним всегда приходилось быть настороже, не расслабляться. Сильнее всего действовали его язвительные резоны или просто его интонация, ставящая все на свои места. Его тон был легким и окольным, без всякой, так сказать, вычурности. Только постоянные стремительные партизанские действия.

Мне кажется, его стиль развился из убеждения, что едва ли не

весь запас слов и понятий советского человека – это продукт «второй свежести», годный только для сносок, комментариев и тому подобного. Для той самой «этиографии». Для чего-то, что в принципе должно быть набрано петитом. И такая, что ли, ***убористость*** высвобождала то чистое, пустое пространство, которое возможно было (или следовало) заполнить.

Все это прояснялось много позже и еще не прояснилось окончательно. Но всегда ощущалась какая-то необъяснимая значительность в его безыдейных идеях, в самом его существовании, упорно настаивающем как раз на собственной незначительности. Асаркан смотрел на жизнь прямо и отстраненно, замечая все швы и накладки – то, что прозевали, на что не обратили внимания. И видел ее своеобразно: как странный, часто смешной коллаж, где все интересное, непредсказуемое и неповторимое появляется только в случайных разворотах, загибах или на стыке разных фактур.

Собственно, я описываю его открытки. Но не случайно же он потратил на них жизнь.

Где-то в начале переписки Саша сообщил мне, что в почтовом отправлении важно не содержание, но и не сам факт письма. Важна законченность. И подсчитал, что в моем последнем письме можно уместить еще одиннадцать строчек. К слову «законченность» у меня теперь есть кое-какой комментарий.

За первые четыре месяца 2003 года пришли восемнадцать открыток, из них девять в апреле. Такой эпистолярной активности не было никогда, я поделился радостью с окружающими, и эта информация как-то дошла до Саши. Ответ последовал незамедлительно: «Мне хотелось бы верить, что я пишу не часто (и не нечасто), а либо в ответ, либо по необходимости (т. е. когда есть сюжет), но теперь я буду следить за собой строже и постараюсь такое впечатление сгладить».

Это и были последние слова последней, в сущности, открытки. Она пришла в середине мая, за ней еще одна – просто уведомление о посылке книги. А потом уже ничего не было.

Библиографическая справка

ВАНЯ, ВИТЯ, ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Знамя. 2001. № 8.

ИЗ ОДНОГО ЯЩИКА
Новая русская книга. 2002. № 1.

ЛЁНИНЫ ПИСЬМА
Театр. 2005. № 1.

МИНУС ТРИДЦАТЬ ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ
Знамя. 2005. № 8.

«ЦВЭТОК»
Харитонов Е. Слезы на цветах. М.: Журнал «Глагол», 1993. Кн. 2.

КУЛЬТОВЫЙ АВТОР
Знамя. 2006. № 4.

ПЕРВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Итоги. 2000. 11 апреля. № 15 (201).

УЧИТЕЛЬ БЕЗ УЧЕНИКА
Знамя. 2003. № 2.

ОТКРЫТКИ АСАРКАНА
Знамя. 2005. № 11.

notes

Примечания

1

Даниэль А. Ю. Диссидентство: ускользающая культура? // Россия/Russia. 1998. Вып. 1. С. 117.

2

Улитин П. П. Поплавок // Знамя. 1996. № 11.

3

Употребление слова «текст» по отношению к стихам вообще-то некорректно, а в данном случае совершенно условно: текст как некая словесная данность. Но стихи – не «текст».

4

Цит. по: *Бланшо М.* Пространство литературы. М., 2002. С. 59.

5

ППУ – П. П. Улитин (1918–1986), писатель. «Устен Малапагин» – его литературный псевдоним.

6

«Табу» и «Анти-Асаркан» – ранние произведения П. П. Улитина, изъятые во время обыска 1962 года.

Кабаков И. 60-е – 70-е… Записки о неофициальной жизни в Москве. Wien, 1999. С. 197.

Джонстон У. М. Австрийский Ренессанс. М., 2004. С. 175.

Там же. С. 176.

Улитин П. П. Поплавок // Знамя. 1996. № 11.

Улитин П. Разговор о рыбе. М., 2002.